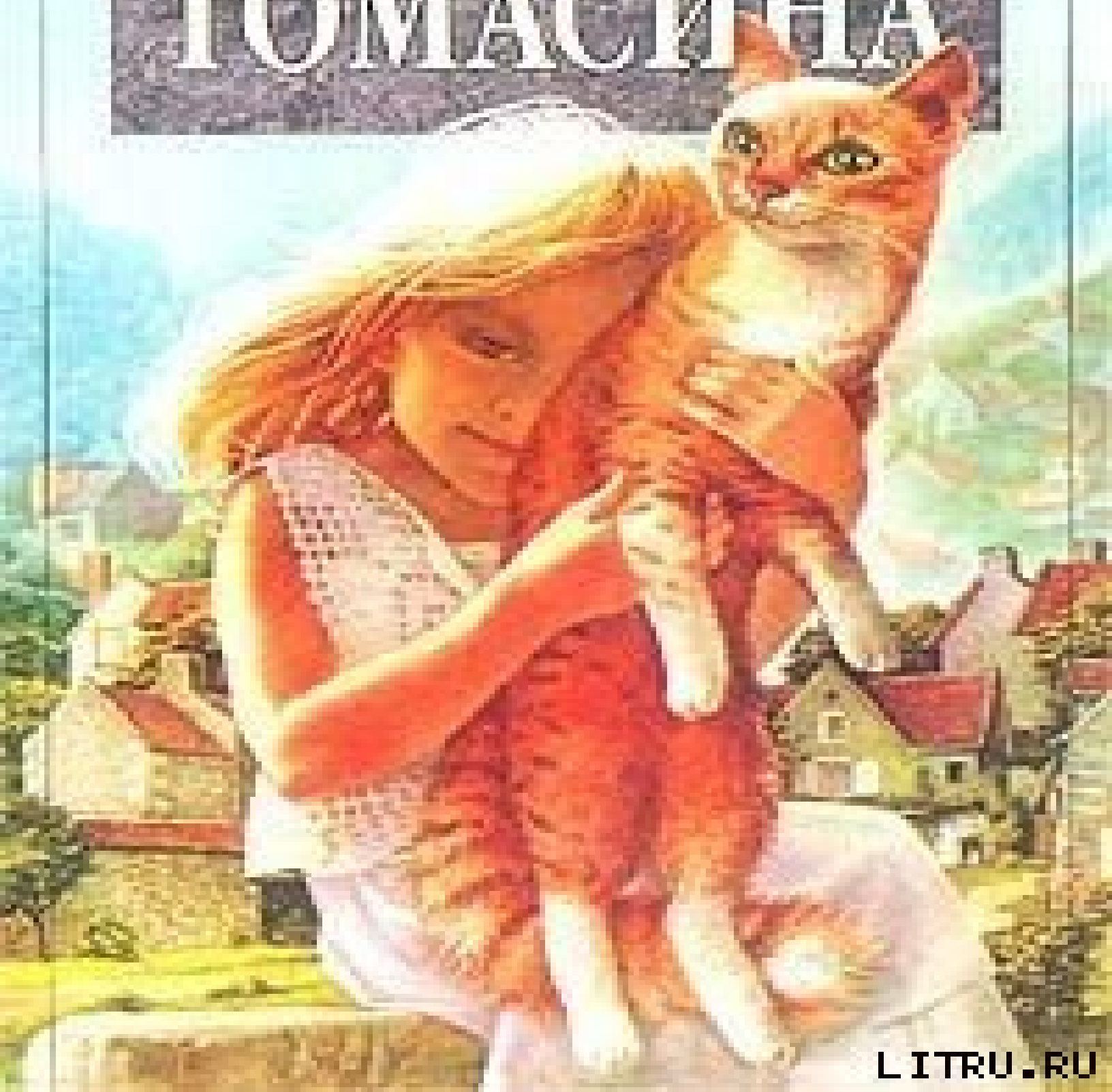




Пол Гэлликот

ТОМАСИНА



Annotation

Это повесть о кошке и «её девочке», о жизни, смерти и любви, а также о том, как лесная «ведьма» и сельский священник спасли жестокого и обиженного на судьбу человека.

- [Пол Гэллик](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [22](#)
 - [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [23](#)
 - [24](#)

- [25](#)
 - [26](#)
 - [ЧАСТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [ЧАСТЬ ШЕСТАЯ](#)
 - [32](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
-

Пол Гэлликo
Томасина

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ветеринар Эндрью Макдьюи просунул в приоткрытую дверь рыжую жесткую бороду и окинул враждебным взглядом людей, сидевших в приемной на деревянных стульях, и зверей, сидевших у них на руках или у ног.

Вилли Бэннок, его помощник, нянька и санитар, уже сообщил ему, кто ждет приема, и доктор Макдьюи знал, что увидит своего соседа и друга, священника Энгуса Педди. Отец Энгус приходил почти всегда из-за своей любимой старой собачки, которую сам и перекармливал сластями. Врач посмотрел на коротенького, кругленького священника и заметил, как печально и доверчиво собачка смотрела на него самого. Она знала, что запахи этого места и колкий мех на лице великана прочно связаны с избавлением от мук.

Заметил он и отдыхавшую у них в городке жену богатого подрядчика из Глазго, которая привела йоркширского терьера, страдающего ревматизмом, в бархатной попонке с шелковыми завязками. Этого терьера он терпеть не мог. Была тут и миссис Кинлох с сиамской кошкой, которая лежала у нее на коленях и мяукала от ушной боли, встряхивая головой. Был мистер Добби, местный бакалейщик, глядевший печально, как и его скотч терьер, который болел чесоткой и шерсть его так облезла, что он явно нуждался не столько во враче, сколько в обойщике.

Было еще человек пять, в том числе – худенький мальчик, которого он где-то видел, а на самом большом стуле, как бы возглавляя весь ряд, сидела старая грузная миссис Лагган, владелица табачно-газетной лавочки, с неопишуемой черной дворняжкой по имени Рэбби. И хозяйка, и древняя дворняга давно стали местными достопримечательностями.

Хозяйка вдовела двадцать пять лет, прожила – все семьдесят, а пятнадцать разделяла одиночество с преданным Рэбби. Весь городок привык и к толстой вдове в шотландской шали, и к черному шару на ступеньках ее крохотного магазина. Рэбби всегда лежал на ступеньках, уткнувшись носом в лапы, и покупатели машинально переступали

через него. В городке говорили, что дети рождаются тут с таким рефлексом.

Доктор Макдьюи взглянул на пациентов, и пациенты взглянули на него, кто испуганно, кто равнодушно, кто с надеждой, а кто и с враждой, передавшейся им. Все его лицо дышало злобой – и высокий лоб, и густые рыжие брови, и властные синие глаза, и крепкий нос, и насмешливые губы, видневшиеся из-под усов, и воинственный, поросший бородой подбородок. Быть может, местные жители не зря считали его бессердечным.

Такой знаменитый человек, как Макдьюи, естественно, вызывал пересуды в маленьком городке графства Аргайл, где он работал несколько лет. В маленьких городках ветеринар – личность важная, так как лечит он не только собак и кошек, но и птицу, и скот с окрестных ферм – черномордых овец, свиней, коров. А наш доктор к тому же был ветеринарным инспектором всей округи.

Макдьюи считали честным, умелым и прямым, но слишком странным, чтобы доверить ему бессловесных Божьих тварей. Он их не любил; не любил он и Бога. Был он неверующим или не был, но в церкви его не встречали, хотя со священником он дружил. Шел слух, что со смерти жены сердце его окаменело и живым остался только тот кусочек, где гнездилась любовь к семилетней дочери – Мэри Руа. Дочь эту никто никогда не видел без рыжей кошки Томасины.

Да нет, говорили сплетники, доктор он хороший. Мигом вылечит или убьет, только уж очень любит усыплять. Те, кто подороже, считали, что это он от жалости не может видеть, как страдает животное; а кто поехидней или пообиженной, предполагали, что просто ему наплевать и на зверей, и на людей.

Но те, у кого зверей не было, думали, что в нем есть хоть что-то хорошее, если он дружит с таким человеком, как отец Энкус. Дружили они с детства, вместе учились, и как раз священник и уговорил его, когда умерла Энн Макдьюи, переехать сюда, чтобы избавиться от тяжелых воспоминаний.

Некоторые помнили старого Макдьюи, ветеринара из Глазго. В отличие от сына, он был не только властен, но и набожен. Рассказывали, что Эндрю хотел стать хирургом, но отец оставил ему деньги на том условии, что он унаследует и его практику. Кто-то из

здешних жителей побывал в их старом доме и не удивлялся теперь, что молодой Макдьои стал таким, каким стал.

Энгус Педди знал, что Макдьои-отец был истинный ханжа, в чьем доме Господь выполнял функции полисмена, и тоже не удивлялся, что Эндрью сперва возненавидел Бога, а потом и отверг. Неверие это укрепились, когда умерла Энн, оставив двухлетнюю дочь – Мэри Руа.

Оглядев ожидающих, доктор уставил бороду в миссис Лагган и мотнул головой, давая понять, что можно войти в кабинет. Вдова испуганно квакнула, с трудом поднялась и прижала к себе несчастного Рэбби. Лапки его повисли, глаза закатились. Он был похож на перекормленную свинку, а свистел и пыхтел, как храпящий старик.

Энгус Педди встал, чтобы помочь вдове, и улыбнулся ей ангельской улыбкой, ибо он ничем не походил на известного нам из книг шотландского священника. Собачка его по имени Сецессия ^[1] (именно такой юмор царил когда-то в его обширной семье), неуклюже спрыгнула на пол. Он приподнял ее за лапки и сказал:

– Видишь, Цесси, вот Рэбби Лагган! Ему плохо, бедному.

Собаки посмотрели друг на друга печальными, круглыми глазами. Миссис Лагган пошла за врачом в процедурную и положила Рэбби на белый длинный стол. Лапки его беспомощно раскинулись, и дышал он тяжело.

Ветеринар поднял его верхнюю губу, взглянул на зубы, заглянул под веки и положил руку на твердый вздутый живот.

– Сколько ему? – спросил он.

Миссис Лагган, одетая, как все достойные вдовы, в черное платье и мягкую шаль, испуганно заколыхалась.

– Пятнадцать с небольшим, – сказала она и быстро добавила: – Нет, четырнадцать... – словно могла продлить этим его жизнь. Пятнадцать – ведь и впрямь много, а четырнадцать – еще ничего, доживет до пятнадцати или до шестнадцати, как старый колли миссис Кэмпбэлл.

Ветеринар кивнул.

– Незачем ему страдать. Сами видите, задыхается. Еле дышит, – сказал он и опустил собаку на пол, а она шлепнулась на брюхо, преданно глядя вверх, в глаза хозяйке. – И ходить не может, – сказал ветеринар.

У вдовы задрожали все подбородки.

– Вы хотите его убить? Как же я буду без него? Мы вместе живем пятнадцать лет, у меня никого нету... Как я буду без Рэбби?

– Другого заведете, – сказал Макдьюи. – Это нетрудно, их тут много.

– Ох, да что вы такое говорите! – воскликнула она. – Другой – не Рэбби. Вы лучше полечите его, он поправится. Он всегда был очень здоровый.

«С животными нетрудно, – думал Макдьюи, – а с хозяевами нет никаких сил».

Да он умирает, – сказал он. – Он очень старый, на нем живого места нет. Ему трудно жить. Если я его полечу, вы придете через две недели. Ну, протянет месяц, от силы – полгода. Я занят. – И добавил помягче: – Если вы его любите, не спорьте со мной.

Теперь, кроме подбородков, дрожал и маленький ротик. Миссис Лагган представила себе времена, когда с ней не будет Рэбби – не с кем слова сказать, никто не дышит рядом, пока ты пьешь чай или спишь. Она сказала то, что пришло ей в голову, но не то, что было в сердце:

– Покупатели хватятся его. Они через него переступают.

А думала она: «Я старая. Мне самой немного осталось. Я одна. Он утешал меня, он – моя семья. Мы столько друг про друга знаем».

– Конечно, конечно... – говорил врач. – Решайте скорее, меня пациенты ждут.

Вдова растерянно смотрела на рыжего здорового человека.

– Я думаю, это не очень плохо, если я оставлю его мучиться...

Макдьюи не отвечал.

«Жить без Рэбби, – думала она. – Холодный носик не ткнется в руку, никто не вздохнет от радости, никого не потрогаешь, не увидишь, не услышишь». Старые псы и старые люди должны умирать. Она хотела вымолить еще один месяц, неделю, день с Рэбби, но слишком волновалась и пугалась.

– Будьте с ним подобрей... – сказала она. Макдьюи вздохнул с облегчением и встал.

– Он ничего не почувствует. Вы правильно решили.

– Сколько я вам должна? – спросила миссис Лагган.

Врач заметил, как дрожат ее губы, и ему почему-то стало не по себе.

– Ничего не надо, – сказал он.

Вдова овладела собой и сказала с достоинством, хотя слезы мешали ей смотреть:

– Я оплачу ваши услуги.

– Что ж, два шиллинга.

Она вынула черный кошелек и положила монеты на стол. Рэбби, заслышав звон, поднял на секунду уши, а миссис Лагган, не оглянувшись на лучшего друга, пошла к двери. Шла она очень гордо и прямо, ей не хотелось при этом человеке быть глупой и старой толстухой. Ей удалось достойно выйти и закрыть за собой дверь.

Худенькие женщины горюют очень жалобно, но ничего нет жалче на свете толстой женщины в горе. Пухлому лицу не принять трагической маски, просто оно сереет, словно жизнь ушла из него.

Когда вдова Лагган появилась в приемной, все глядели на нее, а Энкус Педди мгновенно все понял и вскричал:

– О, Господи! Неужели с ним плохо? Что ж мы будем без него делать? Через кого переступить?

Здесь, со своими, миссис Лагган могла плакать вволю. Казалось бы, что такого – но вся очередь застыла, а на сердце Энкуса Педди легла какая-то рука и сжимала до тех пор, пока боль его не уравнилась с болью вдовы. Пришла наконец одна из тех страшных минут, когда священник не знал, чего же хочет от него Бог и что бы Сам Бог сделал на его месте.

Для Энкуса Педди Бог не был связан с мраком и скукой. И Творец, и тварный мир ^[2] были для него радостью, и он считал своим делом передать пастве радость, и хвалу, и восхищение чудесами Божьими, к которым он относил и зверей. И все же он был человеком и путался, когда его Бог как бы не обращал внимания на беды вдовы Лагган.

Толстая женщина плакала перед ним и утирала слезы, они текли по ее щекам и подбородку. Сейчас она уйдет и для нее начнется смерть.

Энкус Педди чуть не кинулся в операционную, чтобы крикнуть: «Стой, Эндрью! Не убий! Пусть сам отживет свое. Тебе ли мешать его игре с Богом?» Но он удержался. Ему ли мешать? Макдьои – хороший врач, а врачи нередко делают и говорят страшные вещи. С животными лучше, чем с людьми: их можно избавить от страданий.

Миссис Лагган сказала, не обращаясь ни к кому:

– Я не сумею жить без Рэбби.

И вышла. В дверь высунулась рыжая борода.

– Кто следующий? – спросил Макдьюи и поморщился, когда жена подрядчика нерешительно приподнялась, а терьер взвизгнул от страха.

– Простите, сэр, – раздался тонкий голосок, – можно вас на минутку?

– Это Джорди Макнэб, мануфактурщиков сын, – пояснил кто-то. Восьмилетний Макнэб – круглолицый, черненький, серьезный, как китаец, в рубашке защитного цвета и со скаутским галстуком на шее, держал в руках коробку, в которой, мелко дрожа, лежало его сегодняшнее доброе дело. Макдьюи взглянул на него сверху, словно Великий могол, пригнулся, касаясь рыжей бородой коробки, и прогремел:

– Что там у тебя?

Джорди смело встретил натиск. Он показал врачу лягушку и объяснил:

– У нее что-то с лапкой. Прыгать не может. Я ее нашел у озера. Пожалуйста, вылечите ее, чтобы она опять прыгала.

Старая горечь накатывала иногда на Макдьюи, и он говорил и делал совсем не то, что хотел. Так и сейчас, он как будто услышал, нагнувшись над коробкой: «Лягушачий доктор. Вот кто ты, лягушачий доктор».

И вся его злоба вернулась к нему. Будь на свете правда, эти люди и этот мальчик приходили бы к нему лечиться и он боролся бы за их жизнь, он бы их спасал. Но они тащат к нему этих сопящих, скулящих, мяукающих тварей, которых держат потому, что из лени или эгоизма не хотят завести ребенка.

Больной терьер был совсем рядом, и Макдьюи с отвращением чувствовал запах духов, которыми опрыскала его хозяйка. Из черного облака злобы он ответил Джорди:

– У меня нет времени на глупости. Ты что, не видишь, какая тут очередь? Швырни свою жабу в пруд. Пошел, пошел!

В круглых черных глазах юного Макнэба появилось выражение, свойственное детям, когда они разговаривают со взрослыми.

– Она больна, – сказал он, – ей плохо. Она же умрет!

Макдьюи повернул его лицом к двери и хлопнул по спине.

– Иди, иди, – сказал он немного приветливей. – Отнеси ее, откуда взял. Природа за ней присмотрит. Заходите, миссис Сондерсон.

Если вас интересуют родословные, вы будете приятно поражены, узнав, что я сродни Дженни Макмурр из Глазго^[3].

По матери мы из Эдинбурга, где мои предки подвизались в университете, причем некоторые из них не только косвенно, но и прямо послужили науке. По отцу мы из Глазго. Дженни – моя двоюродная бабушка. Она была истинная красавица, в самом египетском стиле: головка маленькая, усы длинные, глаза раскосые, уши круглые, небольшие и крепенькие. Считают, что я на нее похожа, хотя цвет у нас разный. Говорю я об этом не из хвастовства: просто это показывает, что обе мы вправе возвести свой род к тем дням, когда у людей хватало ума нам поклоняться.

Сейчас поклоняются ложным богам, а тогда, в Египте, наших предков чтили в храмах, и людям вроде бы это приносило больше счастья. Однако время это ушло, и рассказать я хочу не о том. И все же, когда знаешь, что тебе поклонялись, как-нибудь это да скажется.

Не буду вас томить: речь пойдет об убийстве.

Такой истории вы еще не читали и не слышали: ведь убили-то меня.

Зовут меня Томасиной из-за обычной и нелепой ошибки, которую часто совершают люди, пытаясь угадать наш пол, когда мы совсем юны. Меня называли Томасом, а потом одумались, и миссис Маккензи, наша служанка, переделала мое имя на женский лад. Было это еще в Глазго, и Мэри Руа едва исполнилось два года.

Не пойму, как это люди так глупы и гадают, кто мы – кот или кошка. Чем гадать, посмотрели бы: у кошек эти штучки рядом, а у котов – подальше друг от друга. Исключений нет, и от возраста это не зависит.

Наш хозяин, Эндрью Макдьои, мог бы сказать сразу: он же врач, но он животных не любит, ему до них нет дела, и на меня он никогда не обращал внимания. И я на него не обращала, на что он мне?

Мы жили в большом мрачном доме, который мистер Макдьои унаследовал от отца. На первых двух этажах там была больница, а мы жили на третьем и четвертом с хозяином, хозяйкой и Мэри Руа. Они

все рыжие, и я рыжая, точнее – темно-золотистая с белой грудкой. Особенно нравится людям, что и лапки у меня белые, и самый кончик хвоста. Меня всегда хвалят, я привыкла.

Хотя мне было только полгода, я помню нашу хозяйку. Ее звали Энн, она была красивая и рыжая, как медная кастрюлька. Она всегда веселилась и пела, и дома было не так темно, даже в дождливые дни. Мэри Руа она очень баловала, и они вечно шептались. В общем, дом был счастливый, несмотря на хозяина. Но скоро все изменилось. Миссис Макдьюи подцепила какую-то болезнь от попугая и умерла.

Не знаю, что бы я делала, если бы не миссис Маккензи. Хозяин сошел с ума, он страшно кричал и буянил, а любовь его вся перешла на дочку и чуть не насмерть нас с ней перепугала. Он где-то бродил, животных забросил, все у нас пошло вкривь и вкось. Тут приехал его старый друг, мистер Педди, сельский священник, и жизнь наша стала понемногу налаживаться. Мистер Педди и наш хозяин учились вместе в университете. Наверное, они там знали моих родных.

Ну вот. Мы продали практику и дом и переехали сюда, на берег залива Лох Фаин, в графстве Аргайл.

Когда со мной случилась беда, Мэри Руа шел восьмой год и жили мы в предпоследнем доме от Аргайл-лейн. В последнем жил священник с отвратительной собакой Цесси. Ф-фуф!

Точнее, мы жили в двух домах – третьем от конца и втором. Они были белые, длинные, двухэтажные, крытые черепицей, каждый – с двумя трубами, на которых сидело по чайке. Еще точнее, в одном мы жили, а в другом работал хозяин. Нас туда не пускали. После несчастья в Глазго хозяин поклялся, что в его доме больных животных не будет.

В Инверанохе мне понравилось больше, чем в Глазго, потому что тут много чаек и пахнет морем и рыбой, а неподалеку лежит волшебная, темная страна лесов, лощин и скал, где можно поохотиться. Там, в Глазго, меня не выпускали на улицу, а тут я стала истинным горцем. Горцы же, как известно, смотрят на всех прочих сверху вниз.

Город этот поменьше Глазго, здесь и тысячи жителей нет, но сюда приезжает отдыхать масса народу.

Летом хозяин очень занят, потому что многие привозят собак, а иногда – кошек, и птиц, и даже обезьян. Одни животные плохо

переносят наш климат, другие сцепятся с нами, горцами, а куда им, неженкам, до нас! И хозяева несут их к моему хозяину. Он сердится, он зверей не любит, особенно домашних, предпочитает лечить скот на фермах.

Но это все меня не касается. Я жила, как хотела, и все шло неплохо, только Мэри Руа таскала меня на руках.

Если у вас есть дочь, вы меня поймете. Если нету, вспомните, как маленькие девочки таскают куклу. Некоторые таскают кошку. Они держат ее под брюхо, так, что верх ее спинки прижимается к груди; передние лапы и голова свешиваются через руку, а весь наш низ болтается на весу. Неудобно и унинительно.

Мэри Руа, правда, клала меня иногда на плечи, вроде горжетки. Люди мной любовались и говорили, что не разобрать, где ее волосы, а где мой мех. Носила она меня на руках, как младенца, но вниз головой. Это – самое неудобное.

Были и другие неудобства, о которых я не хотела говорить, но к слову скажу. Мне повязывали салфетку и сажали за стол, как даму. Правда, при этом мне давали молоко и вкусное печенье с тмином, но достоинство мое страдало.

Спать мне полагалось у кровати Мэри Руа, и я не могла уйти на любимое кресло, потому что Мэри, если меня не было, страшно плакала. Иногда она плакала и при мне, причитая: «Мама, мама!» – слезала, брала меня к себе и утыкалась лицом мне в бок так, что я еле могла дышать. Мы очень не любим, когда нас прижимают.

Она плакала и говорила: «Томасина, Томасина, я тебя люблю, не уходи!...» А я лизала ей лицо, слизывала соленые слезы, пока она не затихнет, не развеселится – «Ой, Томасина, щекотно!» – и не заснет.

И я терпела. Будь это мальчик, я бы давно сбежала, благодарю покорно! Сбежала бы в лес или нашла других хозяев. Я о себе позаботиться могу – вид у меня изысканный, но я сильна, здорова и очень вынослива. Как-то на меня наехал юный велосипедист. Миссис Маккензи выскочила из дома, жутко голоса. Мэри Руа плакала целый час, а на самом деле мальчик упал и расшибся, я же отряхнулась и пошла, куда шла.

Ну, а еще у нас был сам хозяин, и я бы много о нем порассказала, одно другого хуже. Ветеринар не любил животных, вы только подумайте! Чуть что – усыпит, так о нем говорили. Да, не хотела бы я к

нему попасть... Ко мне он ревновал; хуже того – он не замечал меня. Нос в потолок, баки распушит, весь пропах микстурами... Уф-фу! Когда он приходил вечером домой и целовал Мэри Руа, мне просто плохо становилось (как вы помните, я все время была у нее на руках).

Конечно, я вредила ему, как могла: умывалась перед ним, ложилась в кресло, путалась под ногами, линяла на его лучший костюм, прыгала ему на колени, когда он садился почитать газету, и старалась пахнуть посильнее. При Мэри Руа он не смел мне грубить и делал вид, что меня не замечает, – просто вставал, словно хочет взять трубку, и стряхивал меня с колен.

Словом, причины сбежать у меня были, но я оставалась, потому что я полюбила Мэри Руа.

Наверное, дело в том, что девочки и кошки похожи. В девочках тоже есть тайна, словно они что-то знают, да не скажут, и они склонны к созерцанию, и, наконец, они иногда смотрят на взрослых как мы – пристально и непонятно.

Если вы жили вместе с девочкой, вы сами знаете, как они уходят куда-то в свой мир, как они упорны, как свободолюбивы, как не пронять их глупыми запретами. Те же черты раздражают взрослых и в нас. Ни девочку, ни кошку не заставишь что-то сделать против воли, тем более – себя полюбить. Да, мы с Мэри Руа во многом похожи...

И вот, я ради нее делала странные вещи. Я терпела, что она таскала меня в школу и дети гладили меня и тискали, пока не прозвонит звонок, а потом я бежала домой по своим делам.

А когда она возвращалась, я ждала ее у дверей, обернув хвост вокруг задних лап. Конечно, так мне было удобнее фыркать на гнусную собачонку нашего соседа, но сидела я ради Мэри Руа. Люди говорили, что по мне можно сверять часы.

Нет, вы подумайте! Я, Томасина, ждала у дверей какую-то рыжую девчонку, даже не особенно хорошенькую.

Иногда я думала, нет ли между нами какой-то еще неведомой мне связи. Очень уж мы были нужны друг другу, когда садилось солнце и одиночество и страх являлись ему на смену.

Средство от одиночества такое: прижаться щекой к щеке, мехом к меху или мехом к щеке. Бывало, проснешься ночью от кошмара, слушаешь мерное дыхание и чувствуешь, как шевелится чистый пододеяльник. Тогда не страшно, можно заснуть.

Я сказала сейчас, что Мэри Руа не особенно хорошенькая. Это не очень вежливо, она ведь считает меня самой красивой кошкой на свете, но я имела в виду, что личико у нее обыкновенное. А глаза – необыкновенные, что-то в них такое есть, когда на них, вернее – в них, смотришь. Я не всегда могла подолгу в них смотреть. Они ярко-синие, а когда она думает о чем-то, чего и мне не угадать, – темные, как залив в бурю.

А так – нос у нее курносый, много веснушек, брови и ресницы очень светлые, почти их и не видно. Рыжие волосы она заплетает в косы, и ленты у нее – голубые или зеленые; ноги длинные, ходит животом вперед.

Зато пахнет она замечательно. Миссис Маккензи обстирывает ее, и обглаживает, и пересыпает белье лавандой.

Миссис Маккензи вечно стирает, гладит, чинит и чистит ее одежду, потому что ей только так дозволено проявлять свои чувства к ней. Сама она, дай ей волю, ласкала бы ее и пестовала, как пестуем мы подброшенных котят, но мистер Макдьюи ревнив и боится, как бы Мэри Руа не слишком к ней привязалась.

Я люблю запах лаванды. Запахи еще больше, чем звуки, вызывают хорошие или дурные воспоминания. Сама не помнишь, отчего когда-то обрадовалась или рассердилась, но, почуяв запах, снова радуешься или сердишься. Вот как запах лекарств, исходящий от него.

А лаванда – запах счастья. Учувяв его, я вытягивала коготки и громко мурлыкала.

Бывало, миссис Маккензи погладит белье, сложит и не закроет по забывчивости шкаф. Тут я нырну туда и лягу, уткнувшись носом в пахучий мешочек. Вот это мир, вот это радость! Живи – не хочу!

Джорди Макнэб шел куда глаза глядят, держа свою коробочку, где пострадавшая лягушка лежала на ложе из вереска и мха. Иногда, забывшись, он пускался в галоп, но вспоминал о печальном положении дел и снова переходил на шаг или рысь.

Он не знал, куда идет, он просто хотел уйти подальше от взрослых. То и дело он заглядывал в коробочку, трогал свою лягушку пальцем и убеждался еще раз, что у нее сломана лапка. Взять ее домой он не мог, ему бы не разрешили, не мог и бросить. Джорди впервые видел, как враждебен мир к тому, кто решил взять на себя ответственность за другое существо.

Он дошел до края города, где улицы обрывались сразу, и начинались поля и луга. Дальше лежал темный и таинственный лес, там жила Рыжая Ведьма; и тут он понял, что уже давно думает о том, чтобы пойти к ней, но пугается: очень уж это опасно.

Люди боялись ходить к той, кого прозвали Рыжей Ведьмой и Безумной Лори, а больше всех боялись мальчишки, вскормленные на сказках и картинках, где носатые старухи летают на метлах. Идти к ней не стоило, разве что уж очень понадобится.

Но говорили о ней и другое – что она никому не вредит, живет одна в лощине, прядет шерсть, беседует с птицами и зверями, лечит их, кормит, выхаживает и водит дружбу с ангелами и гномами, которыми, как известно, лощина просто кишит.

Джорди знал обе версии. Если правда, что олень приходит к ней и ест у нее с ладони, птицы садятся ей на плечи, рыбы выплывают на ее зов из ручья, а в сарае за ее домом живут больные звери, которых она подбирает в лощине и в лесу, или они приходят к ней сами – не отнести ли ей лягушку?

Он прошел по горбатому мостику и стал подниматься на лесистый холм, за которым лежала лощина. Кажется, ведьма жила милях в полутора после седых развалин замка – лес там был особенно пуст, и такому маленькому мальчику было страшно идти туда, где в лесной тьме живет какая-то огненная колдунья.

Джорди довольно долго шел по лесу и, наконец, увидел домик колдуньи. Тогда он остановился и, как подобает бойскауту, решил оглядеться.

Домик был длинный, двухэтажный, и трубы, словно кроличьи уши, торчали из него. Зеленые ставни были закрыты, и казалось, что домик спит. Сзади стояло здание повыше, тоже каменное, по-видимому – бывший амбар или коровник. Перед самым домиком, на полянке, рос огромный дуб, и ветви его нависали над крышей. Дубу было лет двести. С нижней ветки свешивался серебряный колокольчик, а из колокольчика свисала длинная веревка.

Теперь, не двигаясь, Джорди слышал сотни шорохов, тихое, но звонкое пение и непонятный перестук. «Колдунья колдует!» – подумал он и чуть не пополз обратно, но пение зачаровало его, хотя перестук казался все страшней и непонятней.

Голос звучал чисто и звонко. Мелодии этой Джорди никогда не слышал, но сейчас, сам не зная почему, закрыл глаза рукой и заплакал. Птицы над ним уgomонились, и в траве мелькнул белый кроличий хвостик.

Джорди Макнэб пополз к дубу. Он положил коробочку у его подножья и тихо потянул за веревку. Лес огласился нежным звоном, перестук умолк, в домике что-то зашумело. Джорди кинулся прочь и засел в кустах.

Он услышал залиvistый лай и увидел черного скотч терьера, выбегающего из амбара. Сотни птиц взлетели в воздух, хлопая крыльями. Две кошки – одна черная, другая тигровая – чинно вышли из домика, подняв хвосты, и уселись на траву. Из чащи показалась косуля, взглянула на домик темными глазами и юркнула обратно. Солнце сверкнуло на ее мокром носу.

Сердце у Джорди сильно забилося. Он приподнялся было, чтобы убежать, но любопытство победило страх.

Дверь распахнулась, но Джорди, к своему разочарованию, увидел не ведьму, а девушку, даже девочку, совсем простую, в бедной юбке и кофте, толстых чулках и клетчатой шали.

Ведьмой она быть не могла, потому что ведьмы уродливы или прекрасны, а все же Джорди почему-то не отрывал от нее глаз. Нос у нее был какой-то умный, рот веселый, и глядя на нее хотелось улыбаться. Сама она улыбалась нежно и мирно, а серо-зеленые глаза

смотрели куда-то вдаль. Волосы ее, распущенные по спине, как у деревенских девиц, были просто красные, словно раскаленное железо.

Она отбросила со лба красную прядь, будто смела паутину с мыслей; а Джорди лежал на животе, притаившись, и любил ее всем сердцем. Он забыл о колдовстве и чарах, просто любил ее и радовался ей.

Вдруг она издала звонкий клич в две ноты, словно снова зазвенел колокольчик, и из леса вышел олень. Он пошел к ней по лужайке, а она глядела на него своим отсутствующим взглядом и нежно улыбалась ему. Остановившись, он опустил голову и посмотрел на нее так лукаво, что она рассмеялась и крикнула:

– Это опять ты звонил? Проголодался?

По-видимому, олень не проголодался, или испугался Джорди, но он вдруг убежал в лес. Зато гуськом вышли коты и стали тереться об ее ноги. А собака понеслась к коробочке, понюхала ее и залаяла.

Хозяйка подбежала к ней легко, как олень. Она опустилась на колени, сложив руки в подоле, заглянула в коробочку, взяла ее и вынула бедную больную лягушку.

Лягушка лежала у нее на ладони, лапка свисала сбоку. Она осторожно потрогала ее, поднесла к щеке, сказала: «Ангелы тебя принесли или гномы? Ну, ничего! Я тебя полечу как смогу», – вскочила и вошла в дом, захлопнув за собой дверь.

Дом снова спал, сомкнув веки. Оба кота и собака ушли к себе, птицы утомонились, одна белка на дереве, над Джорди, еще скакала по ветвям. Джорди почувствовал легкость и свободу, которых не знал до сих пор. Он встал и пошел домой через темный лес.

Закончив прием, доктор Макдьои кивнул Энгусу Педди, переждавшему всех.

– Заходи, – сказал он. – Прости, что задержал. На этих идиотов все время уходит. Ну, что с ней? Перекормил конфетами? Сколько же тебе повторять? Он и не заметил, что причисляет к идиотам своего друга.

– Правда твоя, Эндрью, – виновато ответил священник. – Но что мне делать? Она так умильно служит на задних лапках.

Ветеринар нагнулся, понюхал собаку, потрогал ее брюхо и поморщился.

– М-да,-сказал он. -Еще хуже стало... Что же ты, Божий человек, не можешь себя обуздать? Зачем пса перекармливаешь?

– Ну какой я Божий человек! – возразил Энгус Педди. – Я – Его служитель, знаешь – из служащих, которые добирают сердцем, где не хватает ума. Лучшие люди идут в армию, в политику, в адвокаты, а Богу достаются такие, как я.

Макдьюи весело и нежно посмотрел на него.

– По-твоему, ваш Бог любит все это подхалимство? – спросил он.

– По-моему, – парировал Энгус, – Он ошибся только раз: когда позволил нам представить Его по нашему образу и подобию. Хотя нет, это мы сами придумали, это же нам лестно, а не Ему.

Макдьюи залился лающим смехом.

– Ах, вот что! – обрадовался он. – Значит, человек наделил Бога своими пороками и теперь, когда молится, ориентируется на них. Священник погладил собаку по голове.

– Когда Бог наказал Адама, – медленно произнес он, – мы стали братьями не Ему, а вот ей. Довольно смешной приговор. Бог шутит редко, но метко. Эндрью Макдьюи не ответил.

– А ты, – продолжал священник, уводя спор с опасного пути, – даже не веришь в это родство. Я вот люблю ее, беднягу, и жалею, как самого себя. Скажи, Эндрью, неужели ты их не полюбил? Неужели у тебя не разрывается сердце, когда она на тебя жалобно и доверчиво смотрит?

Нет, – отвечал Макдьюи. – Я хоть и собачий, но доктор. Если у врача будет разрываться сердце из-за каждого пациента или родственника, он долго не протянет. Не намерен расходовать чувства на этих тунеядцев.

Преподобный Энгус Педди пошел на него с другого фланга.

– Неужели ты не мог, – спросил он, – помочь собачке Лагган? Зачем ты ее усыпил?

Макдьюи стал красным, как его борода, а глаза его потемнели.

– Что, вдова жаловалась? – сказал он.

– А если бы и жаловалась? Нет, она ничего не говорила, только мучилась. Я видел ее глаза, когда она шла к дверям. Теперь она одна на всем свете.

– Да все равно она осталась бы одна недели через три, ну, через месяц, от силы – через год. И вообще, я достану ей собаку. Меня вечно

просят пристроить щенка.

– Ей эта собака нужна, – сказал священник. – Она ее любит, они – семья, как вот мы с Цесси. Разве ты не видишь, что с любовью легче прожить тут, на земле?

Макдьюи снова не ответил. Он любил свою жену, и ее у него отняли. Любовь – опасная ловушка, без любви куда спокойней. Да, но он и сейчас любит Мэри Руа. Проще быть бревном или камнем и ничего не чувствовать.

– ...Непременно должен быть ключ, – говорил Энгус.

– Какой ключ?

– Наверно, любовь и есть ключ к нашим отношениям с четвероногими, пернатыми и чешуйчатыми тварями, которые живут вокруг нас.

– Ах, брось! – фыркнул Макдьюи. – Все мы запущены в огромную нелепую систему. Мы встали на ноги, а они нет. Тем хуже для них. Священник посмотрел на врача сквозь очки.

– Смотри-ка, Эндрью! Я и не знал, что ты так продвинулся. Значит, мы кем-то запущены... Кем же, интересно? Ты ведь не так старомоден, чтобы верить в безличную силу.

– Ты, конечно, скажешь, что Богом!

– А кем же еще?

– Антибогом. Очень уж плохо система работает. Я бы и то лучше управился. Макдьюи подошел к полке и взял скляночку. Мопс принял лекарство, громко рыгнул и встал на задние лапы. Люди посмотрели друг на друга и засмеялись.

Я сторожила мышиную норку, когда Мэри Руа пришла за мной и потащила на пристань, встречать пароход из Глазго. Уходить мне не хотелось, я долго прождала мышей и чувствовала, что они вот-вот появятся.

Норка была важная, у самой кладовой. Мышиная служба – наш долг, и я всегда выполняла его неукоснительно, сколько бы времени и сил ни уходило у меня на то, чтобы Мэри Руа лучше и счастливей жилось.

Люди постоянно забывают, что мы работаем, а без работы портимся. Им, видите ли, надо делать из нас игрушки. Даже когда мы приносим им мышь, чтобы тактично напомнить о своей профессии, они, по глупости и гордыне, считают ее подарком, а не оправданием нашего у них житья.

Вы, наверное, думаете, что сидеть у норки легко. Что ж, посидите сами. Станьте на четвереньки и не двигайтесь час за часом, глядя в одну точку и притворяясь, что вас нет. Мы – не собаки, чтобы понюхать и уйти. Мы звери серьезные, и у меня, к примеру, на работу уходит очень много времени, особенно если норок несколько и есть основания полагать, что у них – два выхода.

Заметьте, главное – не в том, чтобы мышь поймать. Мышь всякий поймают. Главное – ее выкурить из дому. Мы ведем с ними войну нервов, а для нее нужны время, терпение и ум. Ума и терпения у меня хватает, но времени было бы побольше, если бы от меня не ждали много другого. Да, работа у нас нелегкая...

Вот для примера: садиться у норы надо в разное время суток. Мышь – не дура и быстро запомнит, когда вы приходите. Значит надо сбить ее с толку. Выбрать же время вам поможет кошачье чутье. Вы просто узнаете, что пора идти, это накатит на вас, как в мечтании, и вы пойдете к норке.

Придете, принюхаетесь, сядете и станете смотреть. Если мышь у себя, она не выйдет, а если вышла – не войдет. И то, и это ей плохо. А вы сидите и смотрите. Попривыкнув, вы сможете думать, размышлять,

вспоминать свою жизнь или жизнь далеких предков и, наконец, гадать, что будет на ужин.

Потом закройте глаза и притворяйтесь, что заснули. Это – самое трудное, так как теперь вам остаются только уши и усики. Именно тут мышь попытается мимо вас проскользнуть. А вы откроете один глаз.

Поверьте, на мышь это действует ужасно. Не знаю, в чем тут дело – может, она пугается, что вы умеете одним глазом спать, а другим смотреть. Сделайте так несколько раз, и у нее будет нервный срыв. Семья ее тоже разволнуется, они побеседуют и решат покинуть дом.

Так решают мышиный вопрос ответственные кошки и коты. Сами видите, тут нужен навык, ум, а главное – время. Я держала дом в большом порядке, хотя мне приходилось, кроме того, обнюхивать все комнаты и вещи, часто мыться, беседовать с соседками и смотреть за Мэри Руа. И никакой благодарности. Миссис Маккензи причитала: «Ах ты лентяйка, лентяйка! Мыши опять побывали в кладовой! Что, не можешь мышку поймать?» По-видимому, это юмор, но я и ухом не вела.

Итак, сидела я у норки, когда этот Хьюги пришел, посвистывая, к нам, и хозяйка моя, в голубых носках и голубом передничке, взяла меня и потащила через весь город на набережную. Я еще никогда не встречала парохода.

Хьюги – сын нашего лерда^[4]. Ему лет десять, но на вид он старше, очень уж высок. Живет он в поместье, недалеко от нас, и очень дружит с Мэри Руа.

Не знаю, как вы, а я мальчишек не люблю. Они плохо моются, шумят, никого не жалеют. Но Хьюги не такой. Он и вежлив со мной, и ничем не пахнет.

С Мэри он часто гуляет, а мало кто из мальчишек станет гулять с девочкой. У Хьюги, как и у нас, нет ни братьев, ни сестер. Он часто заходит к нам, и мы втроем играем. Он, по-видимому, достаточно меня ценит. Оно и понятно – голубая кровь. После лаванды я больше всего люблю запах моря: лодок, канатов, ящиков, а главное – дивный запах рыбы, крабов и зеленых водорослей. Особенно хорошо пахнет море с утра, когда солнце еще не разогнало туман и все пропитано влагой, покрыто росой и солью.

Итак, мы пошли с Хьюги и Мэри на приморскую площадь, где стоит Роб Рой^[5]. Я обрадовалась, там было много интересного, только

пароход вдруг так взвыл, что я шлепнулась с плеча Мэри Руа и ударилась.

Вы спросите, почему же я не упала на все четыре лапки. Не успела, слишком внезапно он взвыл. Я на него глядела, он мне понравился, откуда я могла знать, что он загудит? Пыхтел он так спокойно, двигался чуть-чуть назад, потом вперед, люди на нем что-то восклицали, и вдруг – пожалуйста.

Я бы могла и не упасть, но тогда бы пришлось вцепиться Мэри Руа в шею. Так что я оглянуться не успела, как очутилась на земле.

Мэри Руа поняла меня, погладила, и Хьюги погладил, но сказал смеясь:

– Ее гудок перепугал. Привыкай, Томасина, тебе придется много плавать!

Кажется, они с Мэри Руа собирались отправиться в кругосветное путешествие на яхте, а она сказала, что без меня не поедет.

Мэри стала меня успокаивать, обнимала, и второй гудок меня уже не испугал. Я смотрела, как несут на берег мешки, потом – как идут пассажиры, разглядывала ярлыки на чемоданах и совсем успокоилась.

Многие вели за руку детей. Мэри Руа, Хьюги и подошедший к нам Джорди Макнэб глядели на них. Были и собаки, штук пять, и корзина с котятами, над которой кричали чайки. Таксисты гудели, приманивая пассажиров. Джорди рассказывал нам новости.

– У лощины цыгане стоят, – говорил он, – там, за рекой. Ужас сколько их! У них фургоны и клетки, чего только нету. Мистер Макквори к ним ходил.

– Жаль, меня не было! – воскликнул Хьюги. – Ну и что?

– Констебль сказал, пока они ничего плохого не сделали, пускай живут.

Хьюги кивнул.

– А они что?

– Там был один, у него кушак с заклепками. Он засунул руки за кушак и смеется.

– Очень глупо, – сказал Хьюги, – смеяться над мистером Макквори.

– А другой, – продолжал Джорди, – в жилетке и в шляпе, отодвинул его и говорит, что они благодарят и никого не беспокоят.

Просто хотят честно подработать. Мистер Макквори его спросил, что они будут делать со зверями...

— Ой! — воскликнул Хьюги, и мы с Мэри Руа тоже заволновались. — Какие же там звери?

Джорди подумал.

— Ну, медведь, дикий кот, обезьяны, лисы, слон...

— Брось! — сказал Хьюги. — Откуда у них слон?

— Да, слона вроде нет, а медведь есть, и кот, и орел, и за все берут шиллинг.

— Так... — протянул Хьюги. — Если мама даст денег, надо пойти. Но Джорди еще не кончил.

— У них будет представление. Я хотел Посмотреть, что в фургоне, а большой мальчик прогнал меня хлыстом.

Все это Мэри Руа пересказала отцу, когда он ее купал, а он слушал, что, надо сказать, меня удивляет. Взрослые говорят с детьми и с нами очень глупо, слащаво, унижительно. Но мистер Макдьюи действительно слушал Мэри, намыливая ей уши и спину. Наверное, миссис Маккензи шокировало, что он купает Мэри Руа, но я могу засвидетельствовать, что ни одна кошка не мыла котенка так тщательно. Ему это явно нравилось, и сам он становился приятней, хотя не для меня, меня туда не пускали, я сидела в передней и смотрела под дверь.

После ванны они ужинали, и Мэри сидела на подушках, а потом шли в ее комнату, и там он играл с ней или что-нибудь ей рассказывал. Она смеялась, и верещала, и таскала его за бороду, а иногда они танцевали и играли в лошадки. Нет, ни детей, ни котят так не воспитывают.

В тот вечер она очень расшалилась и не хотела молиться. Он всегда ее заставлял, а она не хотела. Я и сама не люблю, когда меня заставляют.

Он становился очень противным и рычал, задрав рыжую бороду:

— Ну, поиграли и хватит! Молись сейчас же, а то накажу!

— Папа, — спрашивала она, — зачем надо молиться?

А он всегда отвечал одно и то же:

— Мама так делала, вот зачем.

Тогда Мэри Руа говорила:

— Можно мне держать Томасину?

Я отворачивалась, скрывая улыбку. Я-то знала, какой будет взрыв.

– Нет! Нет! Нет! Молись сию минуту!

Мэри Руа не хотела его рассердить, она правда верила, что когда-нибудь он передумает и разрешит. Но он страшно злился. В эти минуты он меня просто ненавидел.

– Господи, – начинала Мэри Руа, – спаси и помилуй маму на небе, и папу, и Томасину...

Я дожидалась своего имени (дальше шли мистер Добби, и Вилли Бэннок, и мусорщик Брайди, большой ее друг, и многие другие) и начинала тереться о брюки мистера Макдьюи. Я знала, что ему это неприятно, но шевельнуться он не мог, пока она не скажет: «Аминь». Тогда я лезла под кровать, откуда меня не достанешь.

Когда Мэри ложилась и лежала, он забывал, что сердится, и лицо у него становилось не доброе, а просто глупое. Да. Потом он вздыхал, поворачивался И медленно выходил из комнаты.

А я сидела под кроватью.

Мэри Руа звала:

– Миссис Маккензи! Миссис Маккензи! Где Томасина?

Чтобы старушке было полегче, я подползала к самому краю. Она доставала меня и клала на постель. Мистер Макдьюи все это слышал, но делал вид, что не слышит.

Так было и в этот вечер, только хвост у меня болел, точнее – самый низ спины, потому что я упала и ушиблась на пристани, у статуи Роб Роя. А наутро меня убили.

В четверг мистер Макдьюи уехал по вызову на ферму в седьмом часу утра, чтобы вернуться к началу приема, к одиннадцати, а после обеда, если нужно, посетить нескольких больных. Однако он прошел с утренним обходом по своей ветеринарной больничке, в сопровождении верного Вилли. В этот день он еще острее, чем обычно, чувствовал, что обход этот – карикатура на то, что делал бы он в клинике Эдинбурга или Глазго. Он знал, что там каждое утро хирург идет по палате с ординаторами, сестрой и сестрой-хозяйкой, проверяет температурные листки, подходит к больным, кого послушает, кого посмотрит, с каждым пошутит, каждого ободрит, и у людей прибавится сил для борьбы с болезнью. В этом ему отказано; вот и он отказал в любви своим пациентам.

Пациенты сипели в чистых клетках, где Вилли по десять раз на дню менял бумагу или солому, перевязанные, сытые, мытые и ненужные своему врачу. Должно быть, они это чувствовали и старались при нем не мяукать и не скулить.

Закончив обход, Макдьюи взял свою сумку, в которую Вилли, знавший всегда, на какой ферме кто чем болен, уже сложил шприцы, мази, клизмы, порошки, вакцины, микстуры, пилюли, иглы, бинты, вату и пластырь; вышел из дому, сел в машину и уехал.

Вилли подождал, пока он исчез за углом, и побежал к зверям, которые встретили его радостным лаем, воем, мяуканьем, кудахтаньем, щебетом и всеми прочими звуками, выражающими любовь животного к человеку.

Макдьюи унаследовал своего помощника от прежнего ветеринара. Из семидесяти лет, которые Вилли прожил на свете, пятьдесят он отдал животным. Он был невысок, голову его украшал серебристый венчик волос, а карие глаза светились беспредельной добротой.

Для зверей настал радостный час. Собаки встали на задние лапы, птицы били крыльями, кошки терлись о прутья решетки, высоко подняв хвосты, и даже самые больные как-нибудь да приветствовали своего друга.

– Ну, ну! – приговаривал Вилли. – По одному, по очереди!

Первой он вынул толстую таксу, и та, визжа от счастья, принялась лизать ему лицо. Потом пошел от клетки к клетке, оделяя каждого тайным снадобьем – любовью. С теми, кто покрепче, он играл, слабых гладил, чесал, трепал за уши, попугая погладил по головке, всем уделил нежности, пока всех не успокоил, и тогда приступил к обычным процедурам.

А доктор Макдьои ехал среди каменных и оштукатуренных домов, высоких, узких, крытых черепицей и спускавшихся рядами к серым водам залива. Его не радовал ни запах моря, ни запах леса, он не глядел на чайк, и даже синяя лодка на тусклом зеркале воды не порадовала его. Он свернул к северу, на Кэрндоу-роуд, миновал горбатый мост через речку и стал подниматься на холмы.

Он сердито думал о том, как неправ его друг священник, считая его холодным человеком, когда вся его жизнь – в любви к маленькой Мэри Руа. Правда, он признавал, что больше он никого не любит.

Священник утверждал, что нельзя любить женщину и не полюбить ночь, и звезды, и воздух, которым она дышит, и солнце, согревающее ее волосы. Нельзя любить девочку и не полюбить полевые цветы, которые она приносит с прогулки, и дворнягу или кота, которых она таскает на руках, и даже ситец, из которого сшит ее передник. Нельзя любить море и не любить горы; нельзя любить летние дни и не любить дождь; нельзя любить птиц и не любить рыб; нельзя любить людей – всех или немногих – и не полюбить зверей полевых и зверей лесных; нельзя любить зверей и не полюбить траву, деревья, кусты, цветы, вереск и мох.

И уже не так возвышенно, запросто, как бы мимоходом, священник прибавлял, что не может понять, как же это любят хоть что-нибудь на свете, не любя Бога. Ветеринар, конечно, сердито фыркал на него и говорил, что лучше уж ему вещать в поэтическом стиле.

В четверть одиннадцатого, объехав фермы, доктор Макдьои подкатил к заднему крыльцу своей больницы, кинул Вилли сумку, коротко сообщил, где что было, вымыл руки, слушая ассистента, надел чистый халат и вышел в приемную, сердито выпятив бороду.

Он увидел местных жителей в темных косынках, платьях, плащах, комбинезонах и нарядных курортников, в том числе – роскошную даму с печальным шпиком на руках. Вид их, как всегда, разозлил его. Он все ненавидел – и этих людей, и этих зверей, и свое дело.

Однако он внимательно окинул их взглядом и с удивлением обнаружил, что с самого края, на кончике стула сидит его дочь Мэри Руа.

От злости он побагровел. Ей было запрещено и заглядывать в больницу. Хватит с него одной беды. Сердито всматриваясь в нее, он понял, что на ее плече лежит не коса, а кошка, которую она обнимает, прижавшись подбородком к ее темени, как любящая мать. Тут Вилли зашептал ему на ухо:

– Томасина наша расхворалась. Не может ходить. Мэри Руа вас дожидается.

– Вы знаете не хуже меня, – сказал Макдьюи, – что я ее сюда не пускаю. Что ж, если пришла, пусть ждет очереди.

И он пригласил в кабинет миссис Кэхни, как вдруг на улице послышался шум и дверь широко распахнулась.

В приемную вошли толпой какие-то дети и тетки, вытирающие руки о фартуки, и мужчины, а завершали процессию преподобный Энкус Педди под руку со слепым Таммасом Моффатом, продававшим обычно на углу карандаши и сапожные шнурки, и сам мистер Макквори. Констебль нес залитую кровью собаку по имени Брюс, которую купили Таммасу Энкусовы прихожане.

– Переехали ее, сэр, – сказал Макквори.

– Она еще жива, – тревожно подхватил Педди. – Попробуй ее спасти!

– Где мой Брюс? – твердил Таммас. – Где он? Он убит? Что мне делать? Что со мной будет?!

Энкус Педди взял его за руку.

– Успокойся, Таммас, собака твоя жива, мы у доктора Макдьюи.

– Мистер Макдьюи? – запричитал слепой. – Мистер Макдьюи? Мы у вас?

– Несите ее в кабинет, – приказал Макдьюи, и Вилли взял собаку у констебля. Врач взглянул на нее и сердито поморщился.

– Это вы, мистер Макдьюи? – повторил слепой и вдруг, протянув руку, произнес: – Спасите мои глаза.

Слова эти вошли в сердце Макдьюи и повернулись там, словно нож. Они напомнили ему, что он впустую прожил сорок с лишним лет. Он отдал бы еще сорок, только бы спасать, лечить, любить людей, а не собирать, как Шалтай-болтая, собаку из осколков.

Энгус Педди понял, что с ним. Ему еще в школе Эндрю рассказывал, как хочет стать великим хирургом. Ему одному в университете довелось видеть, как он плакал, когда отец приказал ему стать ветеринаром.

– Таммас хочет сказать... – начал священник, но врач остановил его:

– Я знаю, что он хочет сказать. Собаки почти нет, незачем бы ей мучиться. Но я спасу его глаза. – И он обернулся к очереди: – Идите, идите отсюда. Завтра придете. Я занят.

Все ушли по одному, унося своих питомцев. Ветеринар сказал священнику:

– И ты иди, незачем тебе ждать. И Таммаса уведи. Я вам сообщу... – И вошел в операционную, закрыв за собой дверь.

Уходя, Педди заметил притулившуюся в углу Мэри Руа и подошел к ней.

– Здравствуй, – сказал он – Что ты тут делаешь?

Она доверчиво подняла на него глаза и ответила:

– Томасине плохо. Она не может ходить. Я хочу показать ее папе. Священник кивнул, рассеянно погладил кошку по рыжей головке и почесал ее за ухом, как всегда. Он очень страдал из-за Таммаса; страдал он и за Эндрью. Кивнув еще раз, он сказал:

– Ну, папа ее вылечит, – и догнал в дверях констебля Макквори.

В тот страшный день я проснулась, как всегда, очень рано и собралась приступить к ритуальным действиям – зевнуть, потянуться, выгнуть спинку и выйти погулять. Люблю погулять с утра, когда никого нет. К пробуждению Мэри Руа я всегда успеваю вернуться.

Но уйти мне не удалось. Не удалось мне и двинуться, лапы меня не слушались. Более того: и видела я плохо, все как-то рассыпалось, а когда я пыталась взглядеться, просто исчезало.

Вдруг почему-то я очутилась на руках у Мэри Руа.

– Что ты все спишь? – говорила она. – Ой, Томасина, я тебя так люблю!

Мне было не до чувств. Я заболела. Сказать и показать я ничего не могла, лапы и глаза меня не слушались, и я не видела Мэри, хотя лежала у нее на руках. В такие минуты с людьми замучаешься, никакого чутья! Кошка бы сразу поняла -понюхала бы, почуяла, приняла усами сигнал.

А страшное утро шло. Явилась миссис Маккензи, и пока Мэри Руа одевалась, я лежала на кровати, а потом Мэри отнесла меня в столовую и положила на кресло. Я там лежала, она завтракала, а миссис Маккензи болтала с мусорщиком. Наконец миссис Маккензи налила мне молока и позвала меня.

Но я не двинулась. Я могла шевельнуть только головой и кончиком хвоста. И есть я не хотела. Я хотела, чтобы они поняли, что со мной, и помогли мне. Мяукала я изо всех сил, но получался писк.

Мэри Руа обозвала меня лентяйкой, отнесла к блюдечку, поставила, и я упала на бок.

– Томасина, пей молоко! – сказала Мэри Руа тем самым голосом, которым миссис Маккензи заставляет ее есть. – А то не возьму к ручью.

Я очень люблю лежать среди цветов у ручья и смотреть, как форель копошится на дне, поводя плавничками. Рыбу я не ловила, хотя поймать ее легко. Когда какая-нибудь из них снималась с места и плыла туда, где потемнее и поглубже, я шла за ней, глядя в воду. Дети

где-то бегали, я от ручья не уходила. А сейчас я поняла, что, может быть, не буду там больше никогда.

Я лежала на боку и даже не могла позвать на помощь.

Ну, наконец-то! Мэри Руа приподняла меня, я снова упала, и она испугалась.

– Миссис Маккензи, Томасине плохо. Идите к нам!

Миссис Маккензи прибежала и опустилась на колени. Она тоже пыталась меня поднять, я падала, и она сказала:

– Ох, Мэри, хворает она! На лапках не стоит!

Мэри Руа схватила меня и запричитала:

– Томасина! Томасина! Томасина!

Глупо, сама понимаю, но я замурлыкала. Миссис Маккензи обняла нас обеих и сказала так:

– Ты не плачь, у нас папа доктор, он ее мигом вылечит!

Мэри Руа сразу замолчала. Слезы у нее сразу высохли, и она улыбнулась мне:

– Слышишь? Мы пойдем к папе, и ты сразу поправишься!

Признаюсь, я не разделяла ее надежд и совсем не мечтала попасть в руки к рыжему злому человеку, который меня терпеть не мог. Но меня не спрашивали. Если бы я могла, я бы забилась куда-нибудь. Миссис Маккензи отвела нас в соседний дом. Я сразу учуяла тот гнусный запах, который всегда шел от хозяина, и совсем сомлела.

Очнулась я на руках у Мэри Руа. Все было четко и ясно, я все видела. То ли я стала выздоравливать, то ли мне полегчало перед смертью. Как бы то ни было, чувства мои стали острее.

Я услышала голос хозяина. Людей в приемной уже не было, мы сидели одни, и Мэри Руа прижимала меня к груди.

– Мэри Руа! – кричал хозяин. – Что ты тут делаешь? Сказано тебе, сюда ходить нельзя!

Мэри не испугалась.

– Папа, – решительно отвечала она, – Томасине плохо. Миссис Маккензи говорит, что ты ее вылечишь.

– Какая еще Маккензи? Зачем она суется в чужое дело? И вообще, я всем сказал: прийти завтра. Сегодня я занят. Иди-ка ты домой.

– Нет, – сказала Мэри Руа. – Я не пойду. Томасине плохо, папа. Она падает и не ест. Вылечи ее.

– Мэри Руа, – снова начал мистер Макдьюи. – У меня очень важная операция. Я должен спасти собаку-поводыря. Как, по-твоему, что важнее: какая-то кошка или слепой человек?

– Кошка, – твердо отвечала Мэри. Мистер Макдьюи задохнулся от удивления и злости. Но потом почему-то успокоился и посмотрел на нас так, словно никогда не видел.

– Ладно, неси ее ко мне. Тут у меня маленький перерыв. Только не тыкайся в нее лицом, пока я ее не осмотрел. Тебя потерять мне бы не хотелось.

Мы вошли в кабинет. Под яркой лампой на белом столе что-то лежало.

– Не смотри туда! – сказал мистер Макдьюи. – И не ходи! Давай сюда кошку, а сама жди в приемной.

И взял меня. Мэри в последний раз погладила меня и сказала:

– Не горюй, Томасина! Папа даст капли, и ты выздоровеешь. Знаешь, я больше всего на свете люблю папу и тебя.

Мистер Макдьюи закрыл дверь. На белом столе лежала собака, вся в крови, с открытым ртом, и глаза у нее были такие, что мне, хоть она и пес, стало ее жалко. Вилли Бэннок в залитом кровью фартуке давал ей сосать губку. У стола стояло ведро, из него шел страшный запах. Я пожалела, что со мной нет Мэри Руа.

Мистер Макдьюи стал ощупывать меня. Как ни странно, руки у него были не злые, а нежные. Он прощупал живот, и бока, и спинку, и нашел больное место. Помолчал, пожал плечами и сказал Вилли непонятные слова «мозговая инфекция». Помолчал еще и добавил: «Надо усыпить». Это я поняла и похолодела от страха.

– Ох, – сказал Вилли Бэннок. – Мэри разгорюется. Может, она ушиблась? Вы дайте мне посмотреть...

– Глупости! – оборвал его хозяин. – Мало нам этого пса? А Мэри я другую подыщу.

Он пошел к дверям и встал так, что я не видела Мэри. Но я слышала, как он сказал:

– Твоя кошка очень больна.

– Я знаю, папа, – сказала Мэри Руа. – Вот и вылечи ее.

– Не уверен, что смогу, – сказал он. – Если она и выздоровеет, у нее будут волочиться задние лапы. Попрощайся с ней.

Мэри Руа не поняла.

– Я не хочу с ней прощаться. Дай ей капель. Я отнесу ее домой, уложу и буду за ней ухаживать.

Собака на столе закричала и таякнула. Мистер Макдьюи посмотрел на нее и сказал:

– Пойми ты, когда люди болеют, они иногда вылечиваются, а иногда нет. Животных можно раньше усыпить, чтобы они не мучились. Так мы и сделаем.

Мэри Руа кинулась к двери, пытаясь прорваться ко мне.

– Папа, папа! – закричала она. – Не надо! Вылечи ее! Я не дам ее усыпить! Не дам, не дам, не дам! Вилли сказал:

– Собака дышит лучше, сэр.

– Не капризничай и не глупи, – рассердился Макдьюи. – Ты что, не видишь, она еле жива! А мне сейчас и без твоей кошки...

Мэри Руа заплакала. Шея у мистера Макдьюи стала такого же цвета, как волосы.

– Мэри Р-руа! – загрохотал он. – Домой!

– Разрешите, сэр, – сказал Вилли, – я посмотрю кошечку...

Мистер Макдьюи обернулся к нему.

– Не суйтесь, куда не просят! Берите эфир и делайте, что приказано! Пора кончать, собака ждет.

Пора кончать! Меня кончать! Кончать мою жизнь, мои мысли, чувства, мечты, радости, все! Я слышала, как Мэри Руа пыталась прорваться ко мне, а помочь ей не могла. Ах, будь я здорова, я бы прыгнула на него сзади, он бы у меня поплясал...

– Вы разрешите... – сказал Вилли.

– Папа, не надо, папа пожалуйста-а! – кричала Мэри Руа.

– Не плачь так сильно, Мэри Руа! – взволновался Вилли Бэннок. – У меня прямо сердце разрывается. Ты мне поверь, я ей плохо не сделаю.

Какое-то время я не слышала ничего, потом раздался незнакомый голос:

– Папа! Если ты убьешь Томасину, я никогда не буду с тобой разговаривать.

– Хорошо, хорошо! – отмахнулся он. – Иди, – и быстро запер дверь. Я услышала, как Мэри Руа колотит кулаками и кричит:

– Папа! Папа! Не убивай Томасину! Пожалуйста! Томасина-а-а! Мистер Макдьюи сказал:

– Скорей, Вилли, – и наклонился над собакой.

Вилли подошел ко мне, налил сладковатой жидкости на тряпку и прижал эту тряпку к моему носу. Я все хуже слышала, как колотит в дверь Мэри Руа. Еще раздался отчаянный крик:

– То-ма-си-и-на-а-а-а!

И стало темно и тихо. Я умерла.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На заднем дворе ветеринарной лечебницы стояла мусоросжигательная печь. По вечерам Вилли Бэннок сжигал в ней грязные бинты, отбросы, а также тела умерших животных. Она была новая, электрическая, и мистер Макдьюи очень ею гордился.

От улицы и от огорода, вотчины миссис Маккензи, дворик был отделен забором.

Конечно, Мэри Руа запрещалось и заглядывать на больничный дворик, но в огороде она играла. Сиживали в огороде и отец ее с соседом-священником, которому нравились и цветы, и овощи, и зелень, выросшие в столь близком соседстве со смертью.

Сейчас, незадолго до ленча, миссис Маккензи гладила наверху и не могла услышать, как вернулась и как плакала осиротевшая хозяйка. К тому же, плакала Мэри тихо, не кричала, не рыдала, просто лились по щекам слезы, словно ей и положено теперь жить плача, как прежде она жила смеясь и улыбаясь.

Решительно и мрачно Мэри Руа прошла в кухню, где стояло на полу нетронутое молоко, дожидаясь исцеленной Томасины, вышла в огород и приблизилась к забору. Он был выше ее. Она нашла два ящика, поставила их друг на друга и влезла на них. На заднем дворе больницы, венчая кучу мусора, длинной полоской золотистого меха лежала Томасина. Глаза ее были закрыты, губы раздвинуты.

С несвойственной ей расторопностью Мэри Руа взгляделась в окна обоих домов. В них никого не было. Миссис Маккензи гладила, распевая гимны (по-видимому, раскаленный утюг напоминал ей об адском пламени), отец и Вилли трудились над собакой.

Мэри Руа легко и быстро перелезла через забор, подбежала к мусорной куче и схватила свою покойницу, как шотландская вдова, разыскавшая тело на поле боя. Она положила ее на плечо, поставила другие ящики, влезла на забор, отодвинула их ногой и спрыгнула. Потом, прижимая к груди еще не остывшую кошку, она отворила калитку и побежала по улице.

Хьюги, сын лерда, живший в большом поместье, в миле от берега, слышал плач и вышел к ней, когда она, выбившись из сил,

опустилась на траву у высокого дуба.

– Ой, Мэри! – сказал он. – Что с Томасиной?

Мэри подняла мокрое лицо и увидела, что ее друг и защитник стоит рядом с ней на коленях. А он, услышав приторный запах, сам сообразил, что случилось, и осторожно начал:

– Может, оно и лучше... Может она была не-из-ле-чи-мо больна...

Мэри взглянула на него с отчаянием и ненавистью. Мягкосердечный Хьюги понял, что так говорить нельзя, но совершенно растерялся от криков, слез и рыданий. «Папа и не пробовал! – кричала Мэри. – Он плохой... Ты плохой... Все вы...» В конце концов она уткнулась лицом в мох и стада скрести ногтями землю.

Хьюги не понимал, что можно так плакать из-за кошки – у них в парке их кишело сотни, и он не отличал одну от другой. Но он слышал, что люди с горя умирают, и очень испугался за Мэри. Он был достаточно взрослым, чтобы понять: не можешь утешить – отвлеки.

– Вот что, Мэри, – сказал он. – Мы ее как следует похороним. Прямо сейчас! У нас есть атласная коробка, туда ее и положим. Устелем коробку вереском, он очень мягкий... Ты слышишь меня, Мэри Руа?

Она его слышала. Рыдала она все тише и тише, хотя и не поднимала головы. А он, ободренный успехом, развивал свою мысль:

– Устроим шествие через весь город. Ребят соберем много. Ты наденешь траур, пойдешь за гробом и будешь громко рыдать.

Мэри Руа приподнялась и посмотрела на него поверх Томасининого тела.

– У миссис Маккензи есть черная шаль, – сообщила она.

– А я возьму у мамы накидку на голову, – подхватил Хьюги. – И Джеми будет играть на волынке! Он учился, очень здорово играет. Представляешь – в юбочке, в шапочке с лентами и дудит «Плач по Макинтошу».

Мэри Руа слушала как зачарованная. Глаза ее стали круглыми, словно монетки, и слезы на них высохли.

Хьюги говорил:

– Я тоже надену юбочку, накину плед на плечи, возьму кинжал и сумку... Все будут на нас смотреть и приговаривать: «Вот идет вдова Макдьюи» – это про тебя, а про Томасину: «Упокой ее, Господи!»

– Правда, Хьюги?

– Еще бы! – Он сам увлекся своей выдумкой. – И мы поставим надпись!

– Какую такую надпись?

– Ну вроде могильного камня. Сперва ставят дощечку... если спешат... – Его синие глаза загорелись, и, запустив пальцы в темные кудри, он медленно продекламировал: «Здесь лежит Томасина... зверски умерщвлена... 26 июля 1957 года».

Мэри Руа с обожанием глядела на него, а он говорил:

– Я скажу надгробное слово... «прах во прах возвратится...» похвалю ее... распишу, как ей хорошо на небе... Мы забросаем могилу цветами. Джеми опять залудит... и мы устроим поминки...

Мэри обняла его, склонившись над Томасиной.

– Вот и молодец! – сказал Хьюги, вытер ей лицо чистым платком и помог высморкаться. Потом он аккуратно отряхнул ее фартучек от листьев и травинок.

– Я ее возьму, – заторопился он. – Положу в коробку. Позову Джеми, соберу ребят. А ты беги, одевайся! Что за похороны без вдовы?

Она послушно побежала к дому, улыбаясь и плача. Больше всего ее умиляла фраза «Зверски умерщвлена».

Ветеринар Эндрью Макдьюи не видел похорон своей последней жертвы – он направлялся со своим другом, священником, на другой конец города, к слепому нищему. Немного раньше, часа в три, Энгус зашел в лечебницу, чтобы узнать, как здоровье собаки-поводыря.

– Что ж, – сказал ему Макдьюи, предвкушая восторг и удивление, – глаза я твоему Таммасу спас. Через три недели собака будет в полном порядке.

– Вот и хорошо, – ответил священник. – Так я и знал.

– Мне льстит, что ты так веришь в меня... – начал Макдьюи.

– Нет, – простодушно перебил его отец Энгус, – я не из-за тебя. Я...

– А я возьму у мамы накидку на голову, – подхватил Хьюги. – И Джеми будет играть на волынке! Он учился, очень здорово играет. Представляешь – в юбочке, в шапочке с лентами и дудит «Плач по Макинтошу».

Мэри Руа слушала как зачарованная. Глаза ее стали круглыми, словно монетки, и слезы на них высохли.

Хьюги говорил:

– Я тоже надену юбочку, накину плед на плечи, возьму кинжал и сумку... Все будут на нас смотреть и приговаривать: «Вот идет вдова Макдьюи» – это про тебя, а про Томасину: «Упокой ее, Господи!»

– Правда, Хьюги?

– Еще бы! – Он сам увлекся своей выдумкой. – И мы поставим надпись!

– Какую такую надпись?

– Ну вроде могильного камня. Сперва ставят дощечку... если спешат... – Его синие глаза загорелись, и, запустив пальцы в темные кудри, он медленно продекламировал: «Здесь лежит Томасина... зверски умерщвлена... 26 июля 1957 года».

Мэри Руа с обожанием глядела на него, а он говорил:

– Я скажу надгробное слово... «прах во прах возвратится...» похвалю ее... распишу, как ей хорошо на небе... Мы забросаем могилу цветами. Джеми опять залудит... и мы устроим поминки...

Мэри обняла его, склонившись над Томасиной.

– Вот и молодец! – сказал Хьюги, вытер ей лицо чистым платком и помог высморкаться. Потом он аккуратно отряхнул ее фартучек от листьев и травинок.

– Я ее возьму, – заторопился он. – Положу в коробку. Позову Джеми, соберу ребят. А ты беги, одевайся! Что за похороны без вдовы?

Она послушно побежала к дому, улыбаясь и плача. Больше всего ее умиляла фраза «Зверски умерщвлена».

Ветеринар Эндрью Макдьюи не видел похорон своей последней жертвы -он направлялся со своим другом, священником, на другой конец города, к слепому нищему.

Немного раньше, часа в три, Энгус зашел в лечебницу, чтобы узнать, как здоровье собаки-поводыря.

– Что ж, – сказал ему Макдьюи, предвкушая восторг и удивление, – глаза я твоему Таммасу спас. Через три недели собака будет в полном порядке.

– Вот и хорошо, – ответил священник. – Так я и знал.

– Мне льстит, что ты так веришь в меня... – начал Макдьюи.

– Нет, – простодушно перебил его отец Энгус, – я не из-за тебя. Я...

Макдьюи сердито рассмеялся.

– А, Боженька! Ясно... Знал бы ты, сколько раз мы теряли всякую надежду! Собака просто чудом осталась жива... – И он остановился, услышав, какое слово произнес.

Энгус Педди весело кивнул.

– Я о чуде и просил. Знаешь, у нас судят по плодам. А в тебе я, конечно, не сомневался. Пойдем скажем Таммасу, а?

– Иди скажи сам. На что я тебе?

– Он тебя просил: «Спасите мои глаза». Ты их спас.

– Вот как? А ты вроде только что говорил...

– Нет, это ты говорил. Ничего, не ты первый путаешь Бога с Его орудием. Пойдем, Эндрью, тебе полезно увидеть, как Таммас обрадуется.

Перед уходом они зашли поглядеть на собаку. Она лежала на чистой соломе, задние лапы ее были в гипсе, передние – в бинтах. Но глаза ее глядели зорко, острые ушки торчали вверх, и, завидев гостей, она забила хвостом по полу.

– Какая красота... – сказал священник.

– Не балуйте ее, а то привяжется, – обратился ветеринар к Вилли Бэнноку, хлопотавшему неподалеку. – Она приучена к одному человеку.

Таммас Моффат жил на другом конце города. Проходя узкими улочками, Энгус Педди услышал знакомые звуки и приостановился.

– Странно... – сказал он. – Где-то играют «Плач по Макинтошу», а сегодня нет никаких похорон.

– Померещилось тебе, – сказал Макдьюи, и они пошли дальше. Старый Таммас жил на втором этаже оштукатуренного дома, крытого толем.

На тротуаре играли дети; на трубе сидела одноногая чайка, белая с серым; на пороге стояла старуха в чепце, с метлой и совком.

– Таммас дома? – спросил отец Энгус.

– Дома, – отвечала старуха, – вроде не выходил.

– Спасибо. Мы к нему поднимемся, если разрешите. Доктор принес ему добрую весть насчет собаки.

Они пошли вверх по узкой, темной лестнице, священник впереди, ветеринар – сзади. Все было тихо, только снизу доносился шорох метлы, а сверху – хлопанье крыльев.

На полпути священник остановился.

– Эндрю... – сказал он.

– Что там? – откликнулся ветеринар.

Но священник не объяснил, что остановило его.

– Ладно, сейчас увидим, – сказал он, тяжелыми шагами добрал до площадки и постучал в дверь. Ответа не было. Он подождал и тихо вошел.

– Господи...-сказал он. Слепой сидел лицом к двери. Голова у него не упала, он как будто прислушивался, ждал шагов, когда явилась смерть.

Макдьюи рванулся к нему, припал ухом к груди, схватил руку. Сердце не билось, и пульса не было, хотя рука еще не остыла.

– Все, – сказал ветеринар. Священник кивнул.

– Да, да... Я знал... – проговорил он.

– Я же спас его глаза! – крикнул Макдьюи. – Где твой Бог?

И тут отец Энгус рассердился. Он выпрямился, круглое лицо вспыхнуло, глаза за очками сверкнули гневом.

– Не смей! – воскликнул он. – Будь она проклята, твоя наглость!

– Проклинать вы горазды! – не уступил Макдьюи. – А ты мне ответь!

– Он – Бог, а не твой слуга! – кричал Энгус Педди, наверное, впервые в жизни. – Ты что, хочешь, чтобы Он тебе льстил? Восхищался твоей работой?

– Нет, ты скажи, – орал Макдьюи, – за что вот этому благодарить твоего Бога?

Они препирались прямо над мертвым телом, а старый нищий словно судил их гнев, и прощал его как истинно человеческую слабость. Священник первым пришел в себя.

– Таммас стар, – сказал он. – Он умер мирно. Он умер надеясь. – Отец Энгус поднял голову, и его кроткие глаза глядели так виновато, что друг его вздрогнул. – А ты прости меня, Эндрю.

– Да и я хорош, – сказал Макдьюи. – Разорался над мертвецом, обидел тебя...

– Нет, не меня! – живо откликнулся отец Энгус. – Я не то имел в виду. Ну что ж, мы оба перенервничали, хотя я-то еще на лестнице знал.

С необычайной, нежной осторожностью он закрыл слепому глаза и накинул ему на голову плед. Вдруг он почувствовал, что еще что-то неладно.

– Мэри сидела в приемной, – сказал он. – Вроде, кошка у нее заболела. Что там было потом?

Макдьюи с поразительной четкостью увидел все, о чем начисто забыл. Он даже ощутил сладкий запах эфира и услышал, как беспомощно колотят в дверь маленькие кулаки.

– Пришлось усыпить, – сказал он. – Видимо, менингиальная инфекция. Так верней. Все равно бы не выжила.

Мирное лицо Энгуса Педди стало и растерянным, и суровым.

– Господи, – проговорил он. – Господи милостивый!..

Похоронная процессия двигалась через город к лесу. Прямо за фобом -большой коробкой, обитой изнутри атласом, – шла Мэри Руа, а в гробу на подстилке из вереска лежала, свернувшись как живая, сама Томасина. Ее накрыли вместо флага куском пледа.

Кто-то заплодировал, но Хьюги дал знак, что еще рано.

– Она не творила зла, не царапалась и не кусалась. Если она ловила мышку, она приносила ее Мэри Руа. Она все время мылась. Мурлыкала она громче всех, вообще – хорошая была кошка. Останки ее – перед нами, но душа ее вознеслась на небо, и сидит там одесную Отца ^[6], и будет ждать Мэри Руа, чтобы не расставаться с ней во веки веков. Аминь.

Слово это ясно показывало, что теперь речь окончена. Дети захлопали и закричали. Хьюги скромно поклонился и добавил:

– А теперь Мэри Руа бросит первую горсть земли.

Но Мэри задрожала и воскликнула:

– Нет! Не могу! Я хочу домой!

По правде, и Хьюги хотел домой. Кроме того, он заметил слезы в глазах у дамы и рыцарственно сказал:

– Хорошо. Не бросай. – И повторил: – Могильщик, делай свое дело.

Могильщик тоже хотел домой. Хьюги нарвал цветов, рассыпал их по свежей могиле и приказал Джеми:

– Играй веселое.

Джеми покорно заиграл, Хьюги взял под руку Мэри Руа, и дети исчезли.

Полоумная Лори легко и робко подбежала к могиле и быстро опустилась на колени. Она увидела дощечку с надписью:

«Здесь покоится Томасина. Родилась 18 января 1952, зверски умерщвлена 26 июля 1957. Спи спокойно, возлюбленный друг».

Лори улыбнулась, но вдруг, перечитывая надпись, испугалась слов «зверски умерщвлена». Она почувствовала зло.

Она встала, постояла, вернулась, снова опустилась на колени. Кто там лежит? – думала она. Кто кого умертвил? Чем тут можно помочь?

Ее дело – живые, мертвым ничего не нужно. А все же... И она никак не могла встать с колен.

Ветеринар Эндрью Макдьои открыл деревянную калитку, направился к дому и вдруг, на полпути, остановился, словно что-то забыл. Он пошарил в карманах, пошарил в памяти, но не вспомнил, что же его остановило. Только войдя в дом он понял, что к нему не вышла навстречу рыжая девочка с рыжей кошкой на плече.

Ни в передней, ни в коридоре не раздался топот маленьких ножек, и никто не крикнул: «Папа!» Однако запах еды немного развеселил его; он пошел к себе, помылся, почистился и спустился в столовую, где его ожидало странное зрелище.

Мэри Руа сидела за столом, накрытом на двоих. Она была в трауре, то есть в шали миссис Маккензи, а голову ее покрывала, падая на плечи, как у Мадонны, темно-лиловая вуаль.

За дверью, в кухне, суежилась миссис Маккензи. Заслышав его шаги, она выглянула в столовую, но Мэри Руа не шелохнулась: она сидела тихо, глядя в пол и сложив руки на коленях.

– Здравствуй! – весело окликнул ее Макдьои. – Что за костюм у тебя? Королева ночи? Ничего, красиво, только мрачновато, а у меня и так был трудный день. Сними-ка, и поужинаем.

Она подняла голову и посмотрела, не мигая, на него, сквозь него, куда-то вдаль.

Миссис Маккензи снова заглянула в дверь.

– Мэри, – встревожено позвала она. – Что ж ты с отцом не здороваешься?

Две слезы поползли по щеке Мэри Руа. Если бы она расплакалась, отец обнял бы ее, ласкал бы, гладил, утешал и, быть может, она оттаяла бы от привычного тепла. Но слез больше не было: детское лицо разгладилось и застыло, выражая омерзение.

– Миссис Маккензи! – крикнул ветеринар. – Эй, миссис Маккензи, что с ней?

Миссис Маккензи вошла в комнату, нервно вытирая руки о фартук.

– По кошке тоскует, – пыталась она объяснить. – Худо ей без Томасины.

Он, не понимая, уставился на нее.

– Схоронили ее ребята, – продолжала миссис Маккензи. – Много их собралось, и Джеми у них играл похоронный марш...

– Ладно, – прервал ее Макдьюи. – Дети всегда что-нибудь выдумают. Вы мне скажите, почему моя дочь мне не отвечает?

Миссис Маккензи собрала все свое мужество.

– Она сказала, что не будет с вами говорить, пока вы кошку не вернете.

Имя мое – Баст [7]. Я богиня, царившая в Бубасте. Зовусь я владычицей Востока и звездой утренних небес. Я сокрушила змея Апопа [8] под священной сикоморой [9].

Отец мой – Ра-Солнце, мать моя – Хатор-Луна; Нут, богиня небес, – сестра мне, а брат мой – Хонсу, изгоняющий злых духов.

Мне поклонялись в храме за 1957 лет до того, как пришел на землю Бог Христос. Я жила, умерла и воскресла.

Все теперь иначе. Храм мой – маленький домик, и жрица у меня – одна. Зовут ее Лори, и она не так прекрасна, как прежние мои двенадцать жриц: кожа у нее бесцветная, глаза – светлые, не темней моих, волосы – медные слитки. Но она добра и почтительна и хорошо поет мне хвалу.

Я-в другой стране, и времена теперь другие. Прошло 3914 лет. Снова 1957 год, четвертый год царствования великой властительницы Елизаветы II из 9-й династии. Живу я на севере. Здесь в лесу, у ручья, вернулось мое Ка [10] в мое тело. Обитатели храма не верят в меня и смеются, когда я зову себя богиней. Даже имя мое изменилось – жрица зовет меня Талифой.

Я удивляюсь, что она не распознала моего могущества – ведь и она одна из тех, кто им наделен. Живет она скорее в моем мире, чем в человеческом. Она лечит и утешает лесных зверей. Она беседует с маленьким забытым народцем, с которым когда-то дружили люди, и с этими новыми богами – ангелами, архангелами, херувимами и серафимами.

Кроме того, она ткачиха. Ей дают шерсть, она прядет ее, ткет ткани, шьет одежду и отдает ее фермерам. Они ей платят, а она покупает то, что нужно для ее лечебницы, и сама трет и варит какие-то лекарства для зверей.

На ее земле летом 1957 года и воскресла я, великая богиня Баст.

Помню день, когда мое Ка снова вошло в мое тело, и Лори перенесла меня в храм.

Она посадила меня на камень и представила местным обитателям. Обитатели эти – просто звери, вернее – звери и птицы: три кошки,

несколько котят, галка, белка и две собаки. Кошки зашипели на меня, собаки залаяли, галка закричала, белка залопотала.

– Что ж вы? – сказала Лори. – Как не стыдно! Гостью обидели. Простой кот (как выяснилось, звали его Макмердок) выгнул спину, а другой кот, тоже простой, но черный (Вулли), подошел ко мне.

– Кто ты такая? – спросил он. – Видишь, нас тут много, не повернешься. И без тебя тесно.

Я честно ответила:

– Имя мое Баст-владычица. Отец мой – Солнце, мать – Луна. Его имя – Ра, ее – Хатор, Меня почитают все люди, и зовусь я звездой Востока.

Котята перестали ловить свой хвост и кинулись к матери, полосатой и пушистой кошке по имени Доркас.

– Не слышал! – фыркнул Вулли. – Что-то жирно для облезлой рыжей котихи...

Я возгорелась божественным гневом, ощерилась, зашипела, но они хохотали -заливались. Галка хлопала крыльями, собаки катались по земле, белка взвилась на дерево. Скотч терьер собрался схватить меня за хвост, но я удачно щипнула его за нос, пускай знает. Мне осталось воззвать к Гору, чтобы он соколом низринулся с неба и выклевал им печень, и к змею Апопу, и к Атуму, насылающему болезни.

Но никто не явился на мой зов. Никто не покарал богохульников. Так я столкнулась впервые с теми, кто не верит в богов. Я не знала, как быть, но Лори все уладила. Она взяла меня на руки, понесла в храм и устроила мне святилище у огня. Я приняла ее в жрицы и стала осматриваться. Наш лесной храм – странное место. Люди сюда не ходят. Пастухи и фермеры вынимают зверей из ловушек, кладут под дубом и звонят в серебряный Колокол Милосердия. Лори выходит из храма и берет зверя.

Кажется, люди боятся Лори, и правильно делают – она ведь жрица истинной богини. На стук она не выйдет, и на крик не выйдет, только на звон Колокола, напоминающий мне звон кимвалов в моем прежнем храме. Вулли (он хоть и простой кот, но умный) рассказал мне, что Лори нашла Колокол в лесу. Прежде он принадлежал разбойнику Роб Рою и предупреждал его, если поблизости была королевская рать.

В храме, на первом этаже, комната с камином (мое святилище как таковое), и еще одна комната, где хранится пряжа. На втором этаже спит Лори, и туда не пускают даже меня.

За храмом каменное строение. Многих черепиц на его крыше не хватает, и Макмердок водил меня туда заглянуть внутрь. Мы видели, как Лори ухаживает за своими больными. Там у нее кролик, землеройка, полевые мыши, птенец, выпавший из гнезда, и горноста́й с раненой лапкой. Есть и пустые клетки, но Мак сказал мне, что иногда полны они все.

Да, теперь он для меня – Мак, и Вулли дружит со мной, и даже Доркас, большая барыня, дает мне иногда вылизать котят. О своем божественном происхождении я с ними не говорю, но сама о нем помню и еще явлю мою силу.

Жрица любит меня, гладит, чешет за ухом, поет мне песни. Голос у нее нежен и чист, как флейты в моем храме, и, закрыв глаза, я переносюсь мыслью в прошлое. Словом, живется мне неплохо. Еды много, только ловить никого не разрешают, Лори не дает трогать живые создания.

Все шло хорошо, жаловаться было не на что, пока к нам не явился Рыжебородый.

Надо бы мне с ней потолковать... – сказал отец Энгус, семена по улице рядом со своим другом. – Не нравится мне, что она с тобой не разговаривает... какая бы тут ни была причина.

– Причина! Да нет никакой причины, – сердито отвечал Макдьои. – Упрямство одно. Она ведь упрямая, как... ну как я, если хочешь.

– Ты ей других животных предлагал?

– Еще бы! Принес ей кошку, сиамскую, породистую, лучше некуда. А она закричала, убежала, уткнулась миссис Маккензи в передник. Кричала, пока я не унес кошку обратно. Соседи думали, наверное, что я секу свою дочь. Оно бы и не вредно...

– Розгой любви не добьешься, – сказал Энгус Педди. Макдьои невесело кивнул. Он знал это сам; знал он еще, что соседи говорят так: если ветеринар не пожалел собственную кошку, животных к нему носить опасно. Слухи эти дошли до самых дальних ферм, где его раньше если не любили, то хотя бы уважали. За последние две недели к нему не пришел ни один фермер.

– Не знаю... не знаю... никак не пойму... – размышлял он вслух, словно Педди не шел рядом с ним. – Я бы и рад оживить эту кошку. Но принеси она ее сейчас, я бы ее снова усыпил!

– Без Томасины ей очень одиноко, – сказал священник.

– Да что мне делать? – сердито спросил Макдьои. – Я все ждал, что ей надоест, но она уперлась, как каменная. Смотрит сквозь меня.

Энгус Педди не любил откладывать.

– Пойду поговорю, – сказал он. – Может, что и выйдет.

Они дошли до конца улицы, и Макдьои нырнул в свою лечебницу, бросив на прощанье:

– Не выйдет ничего.

А священник подошел к соседнему дому и увидел на ступеньках крыльца Мэри Руа. Он положил на скамью шляпу и зонтик и сел рядом с ней, думая, с чего бы начать.

– Да... – сказал он наконец и вздохнул. – Моросит и моросит... может пойдём ко мне, поиграем с Цесси?

Она взглянула на него торжественно и отрешенно и молча покачала головой. Он тоже взглянул на нее, и сердце его сжалось. Маленькая, некрасивая рыжая девочка сидела на каменной ступеньке, без куклы, без подруги, без кошки. Он знал свое дело и сразу определил чутьем то тяжкое горе, которое до сих пор встречал только у взрослых. Так врач определяет смертельную болезнь по воздуху в комнате.

— Мэри Руа, — мягко и серьезно сказал он, — ты очень горюешь по Томасине. Глаза ее стали злыми, она отвела взгляд, но священник продолжал:

— Я ее помню, прямо вижу, как будто она с нами, тут. Смотри, не напутаю ли я. Если что не так, скажешь.

Мэри Руа неохотно взглянула на него, но и такой знак внимания его ободрил.

— Она вот такой длины. — Он развел руки в стороны. — Такой вышины, такой толщины. Цветом она как медовый пряник, полоски — как имбирный, а на груди у нее манишка, белая, треугольником. — И он очертил пальцем треугольник в воздухе.

Мэри Руа покачала головой.

— Кружочком, — сказала она. Священник кивнул.

— А, верно, кружочком. И три лапки — белые...

— Четыре.

— И белый кончик хвоста.

— Там только пятнышко.

— Да, — продолжал Педди. — Голова у нее красивая, круглая, ушки маленькие, но для нее великоваты. Они острые, стоят прямо, и от этого кажется, что она всегда настороже.

Мэри Руа смотрела на него и жадно слушала. Злоба из глаз ее ушла. Щеки порозовели.

— Теперь — нос. Как сейчас помню: такого самого цвета, как черепица на церковной крыше. Но с черным пятнышком.

— С двумя! — поправила Мэри Руа, показала два пальца, и на щеках у нее появились ямочки.

— Да, правильно, — согласился Педди. — Второе — пониже первого, но его трудно разглядеть. Теперь — глаза. Ты помнишь ее глаза, Мэри Руа? Она кивнула.

– Глаза у нее лучше всего, – продолжал он. – Изумруды в золотой оправе. А язычок самого красивого розового цвета, точь-в-точь мои полиантовые розы, когда они только что раскрылись. Как-то, помню, она сидела напротив тебя, за столом, с белым слюнявчиком, и вдруг смотрю-у нее торчит изо рта лепесток. Вот, думаю, розу съела!

Мэри Руа засмеялась так, что миссис Маккензи выглянула в дверь.

– А она не ела! – кричала Мэри Руа. – Она язык высунула!

Педди кивнул.

– Кстати сказать, как она сидела за столом! – продолжал он. – Истинная леди. Не начнет лакать, пока не разрешат. А когда ты давала ей печенье, она его три раза трогала носиком.

– Она больше всего любила с тмином, – сообщила Мэри Руа. – А почему она их трогала?

– Кто ее знает! – задумался священник. – Может быть, она их нюхала, но это невежливо, так за столом не делают... Скорее всего, она как бы говорила: «Это мне? Ах, не надо! Ну, если ты очень просишь...»

– Она была вежливая, – сказала Мэри Руа и убежденно кивнула.

– А какая у нее походка, какие позы! Бывало, ты ее несешь, а она как будто спит...

– Мы и ночью вместе спали, – сказала Мэри Руа. Глаза у нее светились.

– Помнишь, как она тебя зовет? Я как-то проходил тут, а она тебя искала, и так это запела вроде бы...

Мэри Руа напряглась и, как могла, повторила любовный клич своей покойной подруги:

– Кур-люр-люр-р...

– Да, – согласился Педди, – именно «курлюрлюр». Видишь, Мэри Руа, она не умерла, вот она, с нами, она живая для нас.

Мэри Руа молча смотрела на него, и под рыжей челочкой появились морщинки.

– Она живет в нашей памяти, – объяснил священник. – Пока мы с тобой ее помним во всей ее красе и славе, она не умрет. Закрой глаза, она здесь. Никто не отнимет ее у тебя, а ночью она придет к тебе во сне вдесятеро красивей и преданней, чем раньше.

Мэри Руа крепко закрыла глаза.

– Да, – выговорила она. Потом открыла их, прямо посмотрела на священника и просто сказала:– Я без нее не могу.

Священник кивнул.

– Ну, конечно. Вот ты ее и зови, она придет. Когда ты вырастешь, ты полюбишь еще кого-нибудь и узнаешь, как трудно любить в нашем нелегком странствии. Тогда ты вспомни, что я тебе сегодня пытаюсь втолковать: нет раны, нет скорби, нет печали, которую не излечит память любви. Как ты думаешь, Мэри Руа, поняла ты?

Она не отвечала, серьезно глядя на него. И он подошел к самому трудному.

– Томасина живет и в папиной памяти. Обними его, поговори с ним. как прежде, и вы будете вместе вспоминать. Она станет еще живее. Он, наверное, помнит то, что мы забыли...

Мэри Руа медленно покачала головой.

– Я не могу, – сказала она. – Папа умер.

При всем своем опыте и уме Энгус Педди испугался.

– Что ты говоришь! – воскликнул он. – Папа жив.

– Умер, – спокойно поправила она. – Я его убила.

Эндрью Макдьюи убедился довольно скоро, что весь городок толкует о его поступке и толки эти – недобрые. Люди замолкали, когда он входил на почту или в аптеку, он ощущал на улице косые взгляды и часто слышал шепот у себя за спиной.

Некоторые слова он разбирал, и выходило так: если он не сумел или не счел нужным спасти кошку собственной дочери, опасно лечить у него зверей, того и гляди, усыпит. И вообще, если уж твой ребенок с тобой не разговаривает, значит, невелика тебе цена.

Макдьюи злился, стыдился, горевал и потому обращался все резче и с пациентами, и с их хозяевами. В самой невинной фразе ему мерещилась обида, и он так грубил, что даже курортники не пошли бы к нему, будь в городе еще один ветеринар.

Из местных же многие знали, что в лесу, у самой лощины, живет затворницей женщина, которая беседует с ангелами и гномами и умеет – конечно, с их помощью – лечить зверей и птиц. И колокольчик на дубе стал звенеть все чаще.

Когда слухи о паломничествах к Рыжей Ведьме поползли по городу, Макдьюи понял, что у него объявился конкурент.

Конечно, он слышал о ней и раньше. Она была для него одной из местных сумасшедших, вроде некоего Маккени, который часами читал у пивной «самого Рэбби Бернса», или старой Мэри, собиравшей на улице веревочки и бумажки. До сей поры почти все так относились к ней и вспоминали о ней лишь для того, чтобы поразить заезжего рассказом о ведьме, которая живет одна в лесу, беседует с духами и зверями и пугает маленьких детей. Детей, собственно, пугала не она, а эти самые рассказы.

Иногда такой заезжий встречал в аптеке или в лавке скромную молодую женщину с широко расставленными светло-зелеными глазами. Если ему приходило в голову посмотреть на нее дважды, он мог заметить, что у нее необыкновенно нежная улыбка. Но он никак не мог догадаться, что это и есть сама ведьма, спустившаяся с гор, чтобы купить еды и лекарств для себя и для своих бессловесных питомцев.

Макдьюи ее не встречал и не думал о ней, ибо местные достопримечательности не особенно интересны тем, кто живет недалеко от них.

А сейчас о ней толковали, как и о нем. Верный Вилли Бэннок передавал ему слухи о вылеченных овцах, и о чарах, и о колокольчике, и о полевых и лесных зверях, которые приходят к ней есть.

Вернувшись в лечебницу после одной особенно неудачной поездки на фермы, Макдьюи увидел в приемной только Энгуса Педди с тихо скулящей Сецессией и рассердился, что никого нет, как сердился прежде, что народу слишком много.

Однако другу он обрадовался. Он чувствовал, что больше никто не расскажет ему умно и связно о загадочной конкурентке.

– Вот что, Энгус, – сказал он, машинально доставая нужную склянку. – Знаешь ты что-нибудь о такой дурочке Лори? Она живет где-то в лесу и выдает себя за ведьму.

Священник вынул пробку, дал Цесси лекарство, погладил ее по спинке, а потом гладил по вздутому брюху, пока она не рыгнула.

Тогда он радостно улыбнулся и начал так:

– Она не дурочка, Эндрью. Я бы скорее сказал, что она нашла свой собственный мир, в котором ей лучше, чем в нашем. А уж ведьмой ее никак не назовешь!

– Но ведь за что-нибудь ее прозвали полоумной! И вообще, она лечит скот, а у нее нет медицинского образования. Видишь, ко мне никто не идет. Это ее дела!

Педди хорошо знал людей и все-таки удивился, как можно до такой степени не видеть и не винить себя самого. Он понимал, что объяснять тут бесполезно, они только поссорятся, и больше ничего. Понимал он и другое – дело не в разнице характеров; такие пропасти между людьми неизбежны в лишенном замысла и смысла, неуправляемом мире. Ведь атеизм несет в себе свою кару, неверующий сам себя сечет, и ему никак не поможешь. И он просто спросил:

– Что же ты думаешь делать?

– Заявлю в полицию, – сказал Макдьюи. Тут Энгус Педди не мог скрыть смущения.

– О, Господи! – сказал он. – Вот ух не стоит! Она же ни гроша не берет. Нет, я бы не заявлял.

– А что тут такого? – упрямо возразил Макдьюи. – В конце концов, закон есть закон. Учишься, работаешь, а тут всякие знахари травят скот какими-то зельями.

Педди вздохнул.

– Закон, конечно, – закон. То-то и плохо. Но, понимаешь, полицейские уважают Лори. Она – хороший человек, совсем хороший, а им приходится видеть много плохих людей.

– Что ж они, откажутся выполнить свой долг?

– Нет, куда им! У них, сам знаешь, шотландское чувство долга. Просто...

– Никак не пойму! Если я ее обвиню...

– Да, да, конечно. Давай-ка я тебе иначе расскажу.

Он замолчал и взял на руки Цесси, словно младенца или черного поросенка. Она с обожанием глядела на него, лапы ее торчали в стороны, а он, прижав ее к сутане, массировал ей живот. Это было бы невыносимо смешно, если бы взгляд его и улыбка не светились такой нежностью.

– Одна соседка говорит другой: «Чего-то я расхворалась. Стирки невпроворот, а у меня прямо ноги не ходят». Другая отвечает: «Есть у меня микстуры полбутылочки. В прошлом году всю простуду как рукой сняло. Сейчас принесу».

Отец Энгус перевернул Сецессию и стал массировать то место, где начинался коротенький хвост. Морда ее выражала несказанное блаженство.

– Приносит она микстуру на спирту. Больная – у которой, скажем, острый приступ стиркофобии ^[11] – отхлебывает глоток, отогревается и веселеет. Как, по-твоему, должен доктор подавать на вторую соседку в суд?

Он подождал, пока притча просочится сквозь крепкий череп его друга, и закончил:

– Нет, Эндрью, у тебя будет очень глупый вид, если ты обвинишь Лори. Полиция прекрасно знает, что она просто дает советы пастухам, женщинам и детям, у которых болят овца, собака или кот.

– Ну, иди сам, – сказал Макдьюи. – Поговори с ней, ты же ее так хорошо знаешь!

– Что ты! – воскликнул Педди. – Я совсем ее не знаю. Ее не знает никто.

– Не говори ты глупостей, Энгус! Кто-нибудь да знает. Пришла же она откуда-то...

– Знает ее кто-нибудь? – тихо, почти про себя, спросил священник, – Да, в каком-то смысле... Ее зовут Лори Макгрегор^[12]. Домик ее и амбар пустовали, когда она явилась в наши края неизвестно откуда. Она ткачиха. Может быть, она – одна из парок^[13], разлученная со своими сестрами...

Макдьюи сердито фыркнул:

– Вот ты с ней и говори. Психопаты часто слушают священников.

Педди вздохнул и покачал головой.

– Я думал, ты поймешь. Я не хочу ее трогать, не хочу ей мешать. Ее пути – не наши пути. Она служит беспомощным и беззащитным. Таких, как она, зовут блаженными. Их немного осталось на земле.

Больше вынести Макдьюи не мог.

– Психи они, твои блаженные! – крикнул он. – Ладно, пойду сам. Скажу ей, чтобы не совалась в чужое дело.

Энгус Педди сидел на краешке стула, гладил Цесси и думал. Наконец он осторожно опустил ее на пол, встал, взял склянку, надел шляпу, не отрывая серьезных глаз от Эндрью Макдьюи.

– Что ж, – сказал он. – Иди. Только, Эндрью, я бы на твоем месте поостерегся. Тебя там ждет большая опасность.

– Еще чего! – взорвался ветеринар. – Ты что, сам спятил?

– Ты не сердись, – начал отец Энгус, – когда я поминаю Бога. Профессия у меня такая. Я же не сержусь, когда ты говоришь о прививках.

Макдьюи не ответил.

– Мне кажется. Лори очень близка к Богу. Она служит Ему и славит Его всей своей жизнью.

– В чем же тут опасность? Мне-то что?

Священник взял на руки собачку.

– Смотри, – сказал он, – как бы ты сам Его не полюбил.

На пороге он обернулся и добавил:

– В двери к ней не стучись, она не откроет. Там у нее на дереве висит колокольчик. Колокол Милосердия. В него даже звери звонят.

– Ну, знаешь!.. – возмутился Макдьюи. – На черта мне...

– Кому-кому, – сказал отец Энгус, – а тебе милосердие нужно. И мягко закрыл за собой дверь.

Я богиня Баст, прозванная Талифой, помню день, когда к нам пришел Рыжебородый.

Он еще до того явился мне во сне, ибо у нас, богинь, – дар ясновидения. И я закричала, не просыпаясь: «Смерть и гибель котоубийце! Красным огнем пылают его волосы, красная кровь – на его руках, и ему не уйти от мщения. В книге мертвых написано, что убивший одну из нас обречен».

Он был так страшен и могуч, что даже я, богиня, проснулась от ужаса. Я лежала у очага, и затухающий огонь был красен, словно кровь. Услышав мой крик, Лори спросила погромче:

– Талифа, что тебе приснилось? – пришла, взяла меня на руки и гладила, приговаривая: – Не бойся ничего, я тут!

Но я знала, что от судьбы не уйти и я скоро увижу наяву рыжебородое чудовище. Так и случилось, я увидела его на следующий день.

Недалеко от нашего дома стоит огромный дуб, а на нижней его ветке, как я говорила, висит Колокол Милосердия. Чтобы Лори вышла из дому, надо дернуть за веревку, свисающую до самой земли. За нее дергали и люди, приносившие к нам зверей, и сами звери.

Вы удивляетесь, а я – ничуть. В мое время никто бы не удивился, ибо звери полевые, птицы небесные, люди и боги жили тогда одной семьей, помогали друг другу и совместно владели сокровищами ведовства.

В то утро зазвонил колокол, и все мы выбежали посмотреть, кто к нам пришел. Лори встала в дверях, прикрывая глаза от солнца, и мы увидели раненого барсука.

На задней его лапе болтался капкан. Им он и задел два раза за кончик веревки, лежавшей прямо на земле. Тут ничего странного не было. Странно было то, что у барсука торчала из плеча кость, была почти оторвана лапа, а он дотащился до моего храма и моей жрицы.

Мы, кошки, разумно сели в отдалении, чтобы он на нас не бросился. На губах у него белела пена. Собаки забеспокоились, они

ведь склонны к истерии, и чуть сами не кинулись на него, что не так уж и глупо, все равно ему умирать.

Но Лори сказала:

– Тихо! Не трогайте его!

Она подошла к барсуку, посмотрела на него (я так и видела прозорливым оком, как его зубы вонзятся в ее руку), и опустилась на колени. Я еле успела пустить чары и на нее, и на него.

Лори осторожно отцепила капкан, взяла барсука на руки и что-то стала ему шептать. Он сразу успокоился. Голова его упала на бок, но глаза не закрылись, и все мы видели желтоватые белки, обращенные к Лори. Она встала, понесла его в нашу лечебницу, и мы пошли за ней.

Лечебница наша – в каменном амбаре. Я села в дверях и глядела, как моя жрица одной рукой подстилает чистую скатерть, кладет барсука на стол, достает губку, миску, травки и идет к плите ставить воду.

Когда она вернулась и поддела ладонью голову барсука, он издал самый жалобный звук, какой я только в жизни слышала. Когда сильный, большой зверь пищит, как мышка, у меня просто сердце разрывается.

Я отвернулась и принялась усердно лизать спинку. Когда я снова посмотрела на Лори, она плакала и отирала барсуку кровь. Белая кость торчала у него из раны, передняя лапа была разорвана в клочья и висела на какой-то жилке. О том, что творилось сзади, я и говорить не стану.

– Видишь, Талифа? – сказала мне Лори. – Не знаю, как ему помочь!.. Он попал в ловушку, и на него еще кинулась собака. Он с ней боролся, ты подумай, отогнал ее! Такой храбрый... Как же ему умереть?..

Барсук лежал на белом полотнище, и Лори осторожно обмывала мех, шкурку, мясо, когти и кость. Лежал он на боку, виден был один глаз, но глаз этот глядел на Лори доверчиво и умоляюще.

– Не знаю, что делать, Талифа, – говорила мне Лори. – Ну совсем не знаю. Не пойму с чего начать, а он вот-вот умрет... Смотри, какой он красивый. Бог послал его ко мне не для того, чтоб он умер.

Она на минутку поникла, потом подняла голову, и глаза ее засветились.

– Вот мы с тобой и попросим! – сказала она мне.

Она и не знала, что просить надо меня. Я бы уж для нее сотворила чудо.

Подойдя поближе ко мне, она села на приступочку, погладила меня и почесала за ухом, глядя в небо. Губы ее шевелились, глаза светились.

Что ж, попросила с ней и я, как меня учили когда-то – и отца моего Ра, и мать мою Хатор, и великого Гора, и Исиду, и Осириса, и Птаха, и Нут, и даже страшного Анубиса.

Я обратилась и к самым древним богам, Хонсу и Атуму-Ра, создателю всего сущего.

Прошло какое-то время, и зазвонил наш колокол.

Я в два прыжка допрыгнула до дерева и оцепенела от ужаса. мех у меня встал дыбом, ушки прижались, из горла моего вырвалось хриплое, сердитое «мяу-у!», а потом я зашипела.

У дерева, под колокольчиком, стоял незнакомец. Вид его был гнусен. Волосы рыжие, как у лисы; борода такая же; глаза злые. Он дергал за веревку, словно хотел сорвать наш колокол с дерева.

Тут я узнала его. Это он являлся мне в страшных снах, чудовище, котоубийца, проклятый самою Баст. Я видела, что он обречен, и все же я боялась его так, что кости дрожали.

Он не заметил, как я летела от дома к дереву, а теперь я мигом вскарабкалась вверх, на самые верхние сучья, куда не доносился его запах. Там я сидела, пока не спустилась ночь.

Да, я, богиня, удрала от смертного. Сама не знаю в чем дело.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Когда Макдьои добрался до места, он чувствовал себя довольно глупо. Остановив машину, он пошел по длинной тропинке, размышляя о словах своего друга. Ему казалось теперь, что здесь, в лесу, обвиняя какую-то полоумную, он будет выглядеть ненамного умнее, чем в суде.

Однако он высоко ставил врачебное дело. Если фермеры будут лечить у этой самозванки свой скот, конец порядку, который он с трудом наладил в здешних местах.

Тут он увидел домик и сарай, остановился и рассердился еще больше, бессознательно защищаясь от мира и покоя, которыми здесь все дышало. Ставни были закрыты, домик спал в тени и прохладе, но всюду кишела какая-то почти неслышная жизнь. Мелькнули хвостики двух убегающих зайцев, и белка прошуршала наверху. Птицы встревожено захлопали крыльями, а кто-то тяжелый, глухо смеясь, скрылся в листве.

Макдьои остановился перед огромным дубом. На нижней ветке висел колокольчик, с язычка его свисала длинная веревка. Ветеринар сердился сам на себя, что не идет к дому и не колотит в дверь кулаком иди хотя бы не звонит в звонок, как положено. Однако что-то его держало. Какие-то чары сковали его, и он стоял и стоял, не вынимая рук из карманов.

Наконец он вспомнил, что друг, веривший не в чары, а в Бога, именно и посоветовал ему звонить в колокольчик. Макдьои дернул за веревку, сердито выставив бороду, и услышал удивительно чистый, нежный звон. Из чащи выглянул самец косули, удивленно посмотрел на пришельца темными, прозрачными глазами и скрылся. Больше не откликнулся никто.

Макдьои звонил много раз, колокольчик плясал, но только какой-то меховой зверек, зацарапав когтями, взлетел на дерево. Макдьои звонил долго и тем не менее удивился, когда простенькая рыжая девушка вышла на его зов.

Он знал от священника, что не увидит колдуньи с крючковатым носом, но такого он все же не ожидал. Она была слишком юна, слишком проста. Нет, ей было за двадцать пять, может — и под

тридцать; удивили его, в сущности, две вещи: пятна крови на ее руках и ее удивительная нежность.

Другого слова он найти не мог. Красивой она не была, даже странно казалось, что такая неприметная девушка зачаровала весь край, внушая и страх, и почтение, но при ней все стало иным: Макдьюи слышал или, вернее, почувствовал, что кругом шуршат десятки пугливых зверьков, шелестят и щебечут птицы и где-то хлопает крыльями тот, кто смеялся наверху. Все стало отрывком из сказки; оставалось узнать, фея стоит перед ним или ведьма. Об этом, сам себе удивляясь, думал Макдьюи, подходя к ней в сопровождении тех, кого он назвал ее родней: двух кошек, рыжей и черной, старой овчарки и веселого скоч терьера. Белка сбежала вниз по стволу, помахивая хвостом.

– Это вы Лори? – сердито крикнул ветеринар.

– Я, – ответила она.

Да, именно – нежная, нежная и кроткая. Он повторил про себя эти слова, когда услышал ее голос. Но слишком долго лелеял он свою ярость, чтобы поддаться на такие штуки, и сердито спросил:

– А вы знаете, кто я такой?

– Нет, – отвечала она, – не знаю.

Тогда он загрохотал так, что земля задрожала:

– Я доктор Макдьюи! Главный ветеринар! Санитарный инспектор!

Если он ждал, что она испугается, опечалится или смутится, он своего не дождался. Лицо ее озарилось радостью, словно она не смела поверить собственным ушам, глаза засветились, тревога из них исчезла, и все ее черты стали не простенькими, а прекрасными.

– Ох! – закричала она. – Услышал! Мы вас очень ждем, доктор. Идите скорей, а то поздно будет.

Он так удивился, что даже сердиться перестал. Что услышал? Кто услышал? Почему она порет такую чушь? И тут он понял: он просто забыл на минуту ее второе прозвище.

«Психически неполноценна, – подумал он. – Совсем плоха, бедняга», – и не заметил, что не ругает, а жалеет ее.

Зато он заметил, что следует за ней, а она уверенно и быстро ведет его куда-то, и между ним и ею шествуют гуськом ее собаки и кошки. Обогнув домик, она подошла к каменному амбару и толкнула

дверь. Посреди комнаты стоял стол, покрытый ослепительной скатертью, в пятнах свежей крови, а на столе, едва дыша, лежал большой барсук.

Макдьои опытным взглядом распознал перелом задней лапы, страшную рану на передней и вывих плечевой кости, а острым нюхом уловил кисловатый запах воспаления.

– М-да, – сказал он, поморщившись. – Дело плоховато. Капкан?

Лори кивнула и добавила:

– И еще собака его покусала. А потом он оборвал цепь и пришел ко мне. Я не могу его вылечить. Я не очень хорошо лечу. Вот я и попросила.

Макдьои рассеянно кивнул, не совсем понимая, кого же она просила, и не думая о том, как смешно прийти во гневе к своему самозваному сопернику и оказаться коллегой-консультантом.

– Эфир у вас есть? – спросил он. – Дайте-ка тряпочку. Поможем зверюге, усыпим. Больше тут делать нечего.

Но Лори мягко ответила:

– Бог послал его сюда не умирать, а вас – не убивать, мистер Макдьои. Ветеринар удивленно взглянул на нее.

– А вы откуда знаете? – спросил он. И прибавил: – Я не верю в Бога.

– Ничего, – сказала Лори. – Бог верит в вас, а то бы Он вас не посылал. Она доверчиво посмотрела на него, и нежная, непонятная улыбка появилась в уголках ее губ. Улыбка была почти лукавая, и почему-то она так тронула Макдьои, что он чуть не заплакал и побыстрее отошел. Он вспомнил, как прозвучала в ее устах его фамилия, и понял, что давно не слышал такой интонации. Впервые заметил он, как чист ее взор и как умирительно просты черты спокойного лица.

Потрясен он был так, что движения его стали еще резче, а голос громче.

– Вы что, не видите, – крикнул он, – что тут делать нечего? И вообще, я без инструментов. По другому делу к вам ехал...

– Я подержу его, – сказала Лори. – Он мне доверяет. А тут вот – мои инструменты.

Она подсунула руку под голову раненого, положила другую ему на бок и приникла щекой к его морде, что-то приговаривая. Барсук

тяжело вздохнул и закрыл глаза.

Макдьои даже вспотел от страха.

– Господи Боже мой! – воскликнул он. – Вы с ума сошли!

Она подняла глаза, чуть-чуть улыбнулась и просто сказала:

– Меня и зовут сумасшедшей. Я его подержу, он не дернется.

Макдьои не ответил. Взглянув на нее, он принялся шить, резать, латать, объясняя ей, что он делает, как профессор студентам. Вдруг, прервав лекцию, он спросил:

– Что вы с ним сделали. Лори? Он лежит совершенно тихо.

– Он мне доверяет, – снова сказала она, зачарованно глядя на то, как творят чудеса проворные пальцы хирурга.

По внезапному вдохновению Макдьои заменил кусок плечевого сустава серебряной монеткой. Через некоторое время он спросил:

– Где вы его взяли?

– Он сам пришел, – ответила она.

– Так... А откуда он знал, что надо сюда идти?

– Его ангелы вели.

– Вы когда-нибудь видели ангела?

– Нет. Я слышала их голоса и шелест крыльев.

У Макдьои почему-то оборвалось сердце. Так бывает, когда вспомнишь давний сон или тронешь затянувшуюся рану. Он поглядел на девушку, стоявшую рядом с ним и восторженно взиравшую на дело его рук, вздрогнул, закончил перевязку, отошел от стола и сказал:

– Ну, все.

Лори схватила его руку и припала к ней лицом. Он почувствовал холодок слез и прикосновение губ, и ему стало еще во сто крат печальней.

– Сделал что мог, – отрывисто сказал он. – Не давайте ему двигаться. Завтра приду, положу гипс. Тогда все будет в порядке. У вас есть, где его держать?

– Да, – отвечала Лори. – Пойдемте посмотрим.

Она с бесконечной осторожностью взяла больного на руки и повела врача за перегородку, в другую половину амбара. Тут была настоящая больничка, но своих прежних пациентов Макдьои в ней не увидел. Все звери были лесные – олень с переломанной ногой, одноглазая белка, свернувшийся ежик, покусанный заяц, осиротевшие лисята, полевые мыши в картонной коробочке.

Макдьюи сразу стало легче на душе. Он даже засмеялся и сказал, окинув зверей опытным взглядом:

– А еж-то симулирует.

И не остался без награды. Нежная спокойная улыбка засияла на простеньком лице.

– Ш-ш! – ответила Лори. – Пускай, ему здесь хорошо.

– Вот так вы их и лечите? – спросил он. Лори смутилась.

– Я за ними хожу, – сказала она. – Им тепло, они отдыхают. А я их кормлю, пою, – голос ее стал совсем тихим, – и люблю...

Макдьюи улыбнулся. Именно это прописывали от века все ветеринары. Правда, последнее снадобье вместо него давал Вилли Бэннок.

– Ну, а как вы лечите тех, кого вам люди приводят? – спросил он.

– Я лечу диких, лесных, – отвечала она. – О домашних дома заботятся. Я нужна бездомным.

– Но вы ведь лечили корову у Кинкэрли?

Лори не удивилась вопросу, только лукаво улыбнулась.

– Я отослала их назад и велела ему быть с ней добрее, тогда она и доиться станет.

Макдьюи закинул голову и захохотал. Он представил себе, как слушал это сердитый фермер.

Они вышли из амбара, и Лори спросила:

– Вы не зайдете к нам на минутку?

Из любопытства он согласился и, войдя в комнату, сразу увидел стеклянную банку на столе. Там были камешки, крохотная лестничка, вода и зеленая лягушка. Стараясь вспомнить что-то важное, Макдьюи наклонился к самой банке и увидел, что лягушка – хромая.

– И ее лечите? – спросил он, весело улыбнувшись.

– Да, – ответила Лори. – Я ее нашла у дверей, в коробочке. У нее лапка сломана.

– Ангела я вам опишу, – сказал Макдьюи. – Ему восемь лет, он курносый, веснушчатый, в скаутской форме.

– Я его не видела, – растерянно сказала Лори. – Я слышала колокольчик.

Макдьюи пожалел о своих словах.

– У меня мало денег, – сказала Лори. – Я вам не очень много заплачу.

– Не надо, Лори. Вы мне уже много заплатили.

Она побежала в соседнюю комнату и принесла неправдоподобно мягкий и легкий шерстяной шарф.

– Возьмите, пожалуйста! – попросила она. – Вам... вам теплее будет, когда у нас тут ветер.

– Спасибо, Лори, я возьму, – сказал он и подумал, знает ли она, как он растроган? В дверях он повторил: – Спасибо, Лори. Мне будет в нем очень хорошо... когда у нас тут ветер. Завтра приду, положу гипс.

Он вышел, она стояла и смотрела ему вслед. Ему показалось, что она глядит не на него, а внутрь, в свое собственное сердце. И он пошел вниз по тропинке, вспомнив, что ее прозвали полоумной.

Он сел в машину, положил на сиденье шарф, но вдруг схватил его и прижал к щеке. Невыносимая печаль вернулась к нему и была с ним всю дорогу, до самого дома.

Всю дорогу, до самого дома, Эндрью Макдьюи думал о Лори и об ее Боге. Почему этих Божьих блаженных не удивляет жестокость и самодурство Творца, который сперва обрекает Свое творение на муки, а потом приводит именно туда, где его спасут? Что это, огромный кукольный театр, когда лучший ветеринарный хирург прибывает на место минута в минуту? Божий юмор, когда хирург этот идет, чтобы карать, а остается, чтобы исцелить? Лори в своей простоте ничего не заметила. Она сказала, что Бог послал его, и. все.

Макдьюи захотелось посоветоваться с Энгусом Педди, но он тут же передумал по довольно странной причине. Он искренне любил друга и не хотел ставить его в тупик. Кроме того, он боялся, что тот приведет обычные доводы – скажет, что Господни пути неисповедимы, что цель ясна не сразу, что Бог – это Бог, и прочее, и прочее. Все это Макдьюи слышал сотни раз, но не мог отделаться от неприятной мысли, что такой Бог сродни Молоху [\[14\]](#).

И все-таки на свете есть Лори. Он знал, что она не совсем нормальная. Она и жила, и думала не так, как прочие люди; но ключом к ней, ко всем ее действиям и думам было сострадание. Мысли его вернулись к Богу, которому она так странно и верно служит. Может, именно сострадание и связывает ее с Ним?

Предположим, что Бог действительно создал человека – не по образу, конечно, и подобию, но все же с какой-то искрой Божьей – и пустил его в мир. Неужели Ему не жалко смотреть, какими стали Его создания? Неужели не горько? Если земля – космическая колба, если Бог ставит тут опыт, ясно, что опыт этот провалился. И все же Богу жалко, наверное, своих несчастных и злых подопытных. Неужели Ему нечем утешиться, кроме дурочек, вроде Лори, или простаков, вроде Энгуса?

Почему-то Эндрью Макдьюи свернул не к дому, а к замку Стерлингов и, не доезжая до него, остановился на берегу, под огромным дубом. Он вылез из машины, вынул трубку, набил ее и раскурил. Будь он не так эгоистичен, он бы заметил, что стал другим; но он не привык смотреть на себя со стороны. Он еще не знал, в какую

попал ловушку, и какие псы искусают его прежде, чем он оборвет цепь и пойдет искать спасения.

Над ним зашелестела листьями белка. Она проголодалась и помнила, как ее кормили из рук. Поэтому она спустилась вниз и уселась на хвостик, сложив на белой манишке черные лапки.

Макдьюи всегда носил в кармане еду, чтобы успокоить или приманить недоверчивого пациента. Он вынул морковку. Белка подошла вплотную, вежливо взяла угощение, отпрыгнула и стала грызть.

Беседовать с белкой легче, чем думать. Макдьюи выбил трубку и сказал:

– Ешь помедленней, пищеварение испортишь.

Белка покрутила морковь и продолжала ее грызть.

– Разреши представиться, – продолжал Макдьюи, – Эндрью Макдьюи, хирург-ветеринар. Меня тут не очень любят. В Бога я не верю. У меня есть дочка, но она со мной не разговаривает, потому что я приказал усыпить ее кошку, у которой было повреждение спинного мозга. Я хотел избавить животное от страданий.

Белка почти догрызла морковку. Держа ее в одной лапе, она пережевывала то, чем успела набить защечные мешки

– Хотел я или не хотел? – говорил Макдьюи. – Это очень важно. Я часто об этом думаю. Может быть, я просто ревновал кошку к дочке? Я ведь и диагноза толком не поставил... Значит, я ревновал к Мэри Руа. Мою дочь так зовут, потому что шкурка у нее посветлее твоей, потемнее моей. Она с этой кошкой вместе спала, таскала ее повсюду, вечно тыкалась носом в ее мех. Понимаешь, мамы у нас нет, и я пытался быть и папой, и мамой. А теперь она плачет и страдает, и со мной, своим отцом, не разговаривает.

Белка доела все и собралась уходить.

– Подожди, – попросил Макдьюи. – Не уходи еще немножко. Мне надо с кем-то поговорить. Вот тебе взятка. – Он вынул еще одну морковку. – И говорить мы будем не обо мне, а о тебе.

Белка подумала, взяла морковку и по-приятельски подсела к ветеринару. – Что ты делаешь, когда болеешь? – спросил Макдьюи и удивился, что никогда об этом не думал. – К кому ты идешь? Кто тебе выписывает коренья и травы – старая мудрая белка или собственное чутье? Мой сосед, священник Энгус Педди, говорит, что без воли

Божьей не упадет и воробей. Но как это Бог устраивает? Странно, я никогда не видел мертвой белки, косули... Что с вами тогда бывает? Птицы вас клюют, обгладывают звери? Где ваши кладбища?

Белка слушала, Макдьюи спрашивал дальше:

— Друзья у вас есть? Как вы воспитываете детей? Понимаете ли вы их? Жалуете? Любите ли вы их так, что сердце разрывается, и теряете, как мы? Вообще, есть у вас любовь, радость, заботы? Или вы едите, спите, плодитесь — и все? Лучше или хуже родиться лесным зверьком? Кто мне ответит? Видно, не ты.

Макдьюи встал. Белка побежала, остановилась, присела, подмигнула ему и стрелой взлетела вверх. А он сел в машину и поехал домой, чувствуя облегчение. Наступил час вечернего купанья, и он не хотел опоздать.

Он надеялся каждый вечер, что дочка его ждет, и каждый вечер ошибался. Гнев его давно сменился тоской и удивлением. Сам он, по совету отца Энгуса, говорил с ней как ни в чем не бывало. Он купал ее, ужинал с ней, укладывал ее. Все было по-старому, кроме одного: она не молилась, пока он не уйдет.

Когда он вернулся, в холле никого не было. Миссис Маккензи чем-то громыкала на кухне. Макдьюи пошел в детскую. Мэри Руа сидела на игрушечном стуле, среди кукол, и не делала ничего.

Он взял ее на руки. Они были очень похожи, оба рыжие, синеглазые, с упрямыми подбородками, повернутыми сейчас друг к другу.

— Давай поужинаем и выкупаемся, — сказал он, — А я тебе расскажу про смелого барсука и про то, как рыжая фея спасла ему жизнь.

Когда она сидела в ванне, он заметил, что она похудела и кожа у нее стала нездорового цвета. Она не прыгала в воде розовой лягушкой, не вырывалась, когда он ее умывал. Но слушала она внимательно.

А он удивился сам, как меняется вся история. Барсук был теперь истинным героем, благородным, мужественным, наделенным и разумом, и чувствами. Рассказывая о том, как захлопнулась ловушка, Макдьюи ощутил боль в сердце и услышал, что Мэри вскрикнула. Давно не слышал он ее голоса. Но пожалела она зверя, а не его.

Когда же он заговорил о том, как Лори баюкала барсука, по щекам у Мэри потекли слезы. Она плакала в первый раз с того несчастного

часа. Он взял ее на руки и сказал:

– Мэри Руа, я тебя люблю.

Прижалась она к нему чуть-чуть? Показалось ему? Он уложил ее. Она молчала, и все же ему было много легче: он снова увидел слезы на ее глазах.

Дверь он на ночь не закрыл, чтобы слышать через холл, если она позовет. Он допоздна просидел над отчетами, а когда собрался лечь, ему было почти совсем хорошо.

Я богиня Баст, поступлю, как поступают боги.

Я покараю злодея.

Богиней быть нелегко. Кому же и знать, как не мне.

Люди завидуют нашему могуществу. Я завидую людям. Им дано выбирать между добром и злом.

У нас, богов, нет ни добра, ни зла, одна лишь наша воля. Сегодня моя воля в том, чтобы уничтожить Рыжебородого.

Когда Макдьюи кончил ночную работу и ложился, надеясь, что пыткам его скоро конец, на городок надвинулась буря. Сперва захлопали двери наверху, и он пошел запереть их. Потом, когда он выглянул из окна, ветер рванул его рубашку, растрепал ему волосы и отхлестал его по щекам. Он поспешил закрыть и окна.

Макдьюи не впервые встречался с шотландским мистралем и знал, что надо покрепче запереть все окна и двери. Заглянув в детскую, он увидел, что Мэри спокойно спит, и проверил окно, чтобы ее не испугало хлопанье створок. Убедившись, что все в порядке, он пересек холл и лег не раздеваясь.

Прежде чем погасить свет, он взглянул на часы. Потом долго лежал в темноте, слушая, как ветер звенит проводами и бьются волны о гальку. Засыпая, он радовался новой надежде.

Проснулся он, не зная, который час, от пронзительного кошачьего крика где-то рядом, почти над головой. Ветер бушевал, скрипели сучья, шумели листья, ревели волны, вывески летели, громяхая, по улице, и дрожало, громко стуча, железо на крышах. Макдьюи стало страшно. Кошка снова крикнула, и он понял, что она – прямо за окном. Он присел на кровати. Она скребла когтями о стекло.

Макдьюи не был бы человеком, если бы не подумал хоть на секунду, что Томасина пришла ему отомстить. Он вздрогнул от страха и тут же сердито рассмеялся. Вокруг кишели кошки: на каждом окне, на каждом пороге сидело всегда по коту.

Однако свет он зажег и успел увидеть горящие глаза, розовый нос и белые зубы. Кошка исчезла.

Он долго лежал, опершись на локоть, и ждал, не закричит ли она снова. Наконец, она закричала немного подальше, а в ответ раздался голос его дочери:

– Томасина!

Содрогаясь от ужаса, он услышал, как Мэри пробежала через холл и открыла входную дверь. Он увидел, как белая фигурка в пижаме мелькнула между их комнатами. Ветер ворвался в дом, свалил подставку для зонтиков, взлетели бумаги, застучали по стене картины.

Макдьои вскочил, схватил фонарик и вылетел из дома во тьму. В луче фонарика сразу появилась белая фигурка. Макдьои увидел летящие по ветру волосы и босые ноги, быстро ступающие по камешкам. Ветер мешал ему идти, валил его с ног. Он кричал:

– Мэри Руа! Мэри Руа!

То ли она не слышала его, то ли не слушала. Кошка свернула и побежала через улицу. Макдьои закричал от гнева и швырнул в нее фонариком. Он не попал, кошка заверещала и взлетела на стену сада. Тогда девочка оглянулась и увидела отца. Рука его была еще занесена, рубаху рвал ветер, рыжие волосы сверкали в струе света, льющегося из двери.

Детское лицо исказил такой страх, какого Макдьои надеялся больше не увидеть. Мэри хотела что-то сказать или крикнуть – губы ее раскрылись, но звука не было. Отец схватил ее, прижал к себе и понес в дом, защищая от всех страхов.

– Все в порядке, – кричал он ей. – Все в порядке, я тут! Тебе приснился страшный сон. Не бойся. Это кошка миссис Маккарти.

Он внес ее в дом, запер дверь, опустился с ней на пол. Она молчала. Не плакала, только дрожала и с ужасом глядела на него. Он даже вздоха не мог от нее дожидаться.

– Это не Томасина, – беспомощно сказал он, встал, отнес ее в детскую, взбил ей подушку. – Мы позовем с утра доктора Стрэтси. А теперь давай-ка оба спать.

Но сам он не заснул и долго чувствовал, как дрожит она, словно не хочет громко при нем заплакать.

Доктор Стрэтси сидел в кабинете у Макдьои. Он был высок и сед, а складки щек и печаль в глазах придавали ему сходство с породистой собакой. Годы врачебной практики обострили его ум и умягчили его сердце. Он стал таким чувствительным, что ему приходилось притворяться угрюмым.

Сейчас он говорил медленно и невесело, глядя на печатку, висевшую на его часовой цепочке.

– Она не может говорить. Вы это знаете? Макдьои подавил тошноту и ответил:

– Она со мной почти месяц не говорит. Понимаете, она принесла мне больную кошку, у той был паралич... повредила спинной мозг... У

кошки все лапы отнялись, и я ее усыпил. Мэри перестала со мной говорить, но с другими она разговаривает.

Доктор Стрэтси кивнул.

– Так-так... Что ж, теперь она не может говорить ни с кем.

– Вы нашли причину?... – спросил ветеринар.

– Да нет еще... – признался доктор Стрэтси. – Связки в порядке. Конечно, надо разобраться, – он кашлянул, – нет ли чего-нибудь в мозгу... Был у нее какой-нибудь шок после того случая?

– Да, – отвечал Макдьюи. – Сегодня ночью за окном закричала кошка, и Мэри крикнула: «Томасина!» Она выбежала из дому, я-за ней...

– А это была Томасина? – серьезно спросил врач.

– Ну что вы! Томасину усыпили. Какая-нибудь соседская кошка.

– Сколько времени девочка болеет? – спросил доктор Стрэтси.

– Болеет? – Макдьюи с удивлением посмотрел на старого врача. – Она не больна! – И тут вспомнил слова друга. – Правда, отец Энгус говорил... И я вчера заметил, что у нее влажноватая кожа...

– Врачи часто не замечают болезни в своей семье, – сказал Стрэтси. – Она серьезно больна.

– Чем? – тихо спросил Макдьюи.

– Я еще не знаю. Пока волноваться незачем. Я послежу за ней, сделаем анализы. А пока держите ее в постели и оберегайте от потрясений. Может быть, другая кошка помогла бы... или щенок? Понятно, вы уже пытались. Я дал ей снотворное. Вечером зайду.

Когда он ушел, Макдьюи впервые в жизни не завидовал настоящему, человеческому врачу. Пусть он и друг семьи, и надежда, и целитель, а все же ему приходится говорить родным: «Готовьтесь к самому худшему».

При этой мысли он вздрогнул. Он знал, что не вынесет смерти Мэри Руа. Уже в детской, глядя, как она спит, он подметил круги под глазами, нездоровый цвет кожи, синеву губ.

В соседней комнате миссис Маккензи вытирала снова и снова давно вытертую пыль, прислушиваясь, не позовет ли ее Мэри. Макдьюи подошел к ней и сказал с мягкостью, какой давно не показывал:

– Это хорошо, что вы тут, рядом. Слушайте, не проснулась ли она. Она очень испугалась и ненадолго потеряла голос. Если что не так, а

меня нет, посылайте сразу за доктором.

Он не ожидал, что миссис Маккензи посмотрит на него с такой злобой.

– Испугалась, как бы не так! – фыркнула она. – Горюет девочка наша. По Томасине извелась. Вот умрет она, останетесь вы один, век будете каяться, мистер ветеринар. Так вам прямо и говорю, а вы что хотите, то мне и делайте.

Макдьюи кивнул.

– Не уходите от нее, миссис Маккензи. Вечером доктор ее опять посмотрит. Может, не так все и плохо.

Он ушел в свой кабинет и принялся укладывать инструменты, думая о несчастной кошке. Осмотри он ее тогда получше, полечи, разреши Вилли за ней поухаживать – она бы умерла сама и девочка бы меньше страдала. Неужели он и правда такой злодей, как сказала миссис Маккензи? Неужели его не зря побаиваются в городе?

Мысли эти измучили его, и он попытался перенестись в другой, далекий, почти нереальный мир, куда можно войти лишь через волшебную дверцу. Где-то растет дуб, на нем висит колокольчик, рядом стоит дом, в доме живет рыжая девушка не от мира сего и лечит больных зверей. Ему представилось, что он дернул за веревочку, а когда девушка спросила, кому нужна помощь, ответил:

– Мне, Лори!

Вдруг он увидел, что держит в руке гипс, – значит, задумавшись, он взял его из шкафа. Тогда он припомнил, как обещал вернуться к больному барсуку, положил гипс в чемоданчик и вышел из дому.

Хо-хо, посмотрели бы вы, как я плясала! Я прыгала, летала, парила, скакала прямо, боком, взвивалась по дереву вверх и спускалась на землю. Я бегала, прижав уши, а добежав до Лори, затормозила на всем скаку, и меня занесло в сторону. Перескочив через собственную тень, я села и стала умываться, а Лори засмеялась и крикнула: «Ой, Талифа, какая же ты смешная!»

Я от радости себя не помнила, потому что ночью, на крыльях ветра, ко мне вернулась прежняя сила, подобающая богине, и я на славу перепугала моего врага.

Никто ничего не знал, никто меня ночью не видел, я убежала тайком из-под самого носа у этих глупых собак и кошек, а утром, когда Лори проснулась, я спала, как всегда, в корзинке.

Вулли, Макмердок, Доркас и котята вышли поглядеть на меня. Я бегала кругами – каждый круг все больше и больше, потом пустилась по прямой кошачьим галопом. Лапы мои едва касались земли; я, собственно говоря, летела. Долетев до Лори, я опрокинулась на спину у ее ног и стала кататься, а она смеялась и, склонившись надо мной, чесала мне брюшко, приговаривая: «Талифа, да ты сегодня просто взбесилась...»

Собаки заразились от меня весельем и стали скакать и лаять, а птицы хлопали крыльями. Котята ловили свой хвост, белка металась по веткам, и никто из нашей живности не знал, чему я так радуюсь. А радовалась я тому, что мне удалось на диве перепугать смертного, как прежде, во времена моего всеведения и всемогущества.

Правда, радость моя омрачилась тем, что никто не верил в эти мои свойства. Лори, наверное, о них догадывалась, она ведь женщина мудрая, и глаза у нее такие самые, как у моих жриц. Но когда привыкнешь к поклонению, трудно без него обходиться.

В то утро и Лори была веселее, чем всегда. Она тихо напевала, обходя птиц и зверей, и ее песенка без слов напомнила мне звуки флейт в моем храме. Иногда она останавливалась, прислушивалась, глядела на тропинку, словно ждала кого-то.

Часам к десяти зазвонил колокольчик. Я успела взлететь на дерево у нашей больницы, и вовремя – приехал мой рыжебородый враг.

Вот я – богиня, властительница судеб, страж неба, а этого типа просто терпеть не могу!

– Берегись, Лори! – крикнула я. – Берегись! Прогони его! Он отмечен моим проклятием! Прогони его, он злодей!

Но Лори меня не поняла. Она не понимает по-кошачьи. То ли дело у нас в храме – подумаешь что-нибудь, почувствуешь, а моя верховная жрица тут же и восклицает: «Слушайте, люди! Баст-Ра изрекла слово!» Ну, а люди падают ниц и восхваляют мою мудрость.

Лори и Рыжебородый вошли в больницу.

Он приехал и на другой день, и на третий, и на четвертый. Я следила за ним с крыши и узнала, кто он такой. Его зовут Эндрью Макдьои, он лечит зверей в городе, куда Лори ходит иногда за покупками, и вылечил у нас раненого барсука. Понять не могу, чего я его так боюсь. Я – богиня, да еще и кошка, то есть – венец творения, а как увижу, просто холодею. И дрожу, и трясусь, и места себе не нахожу, как последняя мышь.

С чего бы это? Кто он? Я его никогда не видела, и все же я нюхом чую, что он погубитель кошек, мерзейшее создание на земле. Значит, его надо наказать.

К Лори он втирается в доверие, объясняя ей, как лечить зверей. Он учит ее класть гипс, перевязывать лапы, и они рядышком возятся над нашим барсуком. Она восхищается его сноровкой, а ему того и надо. Наложив гипс, он почесал барсука за ухом и поговорил с ним, тот вылупился на него, как верный пес, а Лори улыбнулась так нежно, что я чуть не умерла от ревности. Я бы прыгнула на него и сверху и горло бы ему разорвала, но не могу, очень его боюсь.

Но и он не радуется, когда Лори говорит ему о своих невидимых друзьях. Как-то раз он сердито ходил по комнате, совал свою бороду во все наши банки и склянки, трогал, пробовал, а потом спросил:

– Лори, кто вас научил собирать целебные травы?

– Гномы, – ответила она, а он рассердился, как бык, и заорал:

– Какая чушь! Я вас дело спрашиваю.

Через дырку в крыше я увидела, что Лори вот-вот заплачет, и громко фыркнула на него. Лори стала совсем как маленький ребенок, на которого кричат.

– Они живут под папоротником, – сказала она. – Увидеть их трудно, но если идешь потише, слышно, как они шепчутся. Тогда он сказал:

– Простите, Лори, я не хотел...

Чего он не хотел, я так и не узнала. Другой раз он спросил ее:

– Кто вы?

А она ответила:

– Лори. Больше никто.

– А есть у вас родня или хоть кто-нибудь?

– Нету.

– Откуда вы?

– Издалека.

– Как вы сюда пришли?

– Меня вели ангелы.

И он опять на нее посмотрел.

День ото дня она лечила все ловчее, все больше узнавала от него, и они подолгу работали молча – она без слов понимала, что ему нужно.

Как-то он принес щенка в корзине. Тот был очень болен. Он положил его на стол, вынул свои ножи и щипчики, и они долго трудились – он объяснял, она все схватывала на лету.

Когда они кончили резать и шить, он сказал:

– Я его оставлю у вас, Лори. Что мог – сделал, а теперь ему нужно то, чего я дать не могу.

Он уехал, Лори его проводила и смотрела, как он уходит. Я спустилась к ней, стала тереться об ее ноги и слышала, что она шепчет:

– Кто я? – А потом: – Кто я такая? – И наконец: – Что это со мной?

Я стала тереться сильнее, но она меня не заметила.

Терапевт и ветеринар медленно ходили по берегу, глядя на темную воду, на чайки у кромки пены и на тяжелые лиловые тучи. День был такой серый, что даже борода Макдьои немного потускнела. Мокрый воздух заполз в глубокие складки на щеках доктора Стрэтси, окутал примятую шляпу и прорезиненное пальто, но глаза его светились умом и добротой. Он сообщал коллеге хорошие новости, а тот жадно ловил каждое слово.

– Как видите, анализы прекрасные, – говорил он. – Теперь признаюсь, что подозревал лейкоз. Конечно, кроме потери речи. Но кровь в полном порядке, так что и думать об этом не будем. У девочки ничего нет.

– Ох! – выдохнул Макдьои. – Как хорошо!

– Да, – согласился Стрэтси. – И почки в порядке, и сердце, и легкие. Энцефалограмма еще не готова, но я уверен, что и в мозгу ничего нет.

– Я очень рад, что вы так думаете, – подхватил Макдьои. – Что ж, если она здорова...

Доктор Стрэтси подкидывал тростью камешки.

– Она серьезно больна, – сказал он наконец.

Ветеринар повторил «серьезно больна», словно хотел убедиться, что правильно расслышал. Внешне он был спокоен, но душой его снова овладел панический страх. Мысли его заматались, и он услышал, что говорит:

– Вы же сами сказали: у нее ничего не нашли...

– Не все можно найти, – ответил доктор Стрэтси. – При моем дедушке люди хворали от многих причин, которые теперь списаны со счета. Отвергнутый жених желтел и худел, обманутая девушка слабела и даже не могла ходить. Брошенные и просто стареющие жены становились инвалидами, и все эти болезни считались настоящими. Так оно и есть.

Макдьои внимательно слушал, а слово «серьезно» гвоздем засело в его сердце. Он хотел понять, что же именно объясняет ему доктор Стрэтси словами и без слов. Внезапно он вспомнил, как сам отнимал у

людей надежду, и ему стало капельку легче от того, что он не верит в Бога. В связном и осмысленном мире все было бы еще страшнее – ведь пришлось бы считать, что Бог забирает у него Мэри Руа, «призывает к Себе», как сказали бы проповедники, ибо он, с Божьей точки зрения, не достоин иметь дочь. Доктору он не ответил, и тот, не дождавшись отклика, заговорил снова:

– Если бы мой дедушка, доктор Александр Стрэтси, вернулся на землю и мы бы вызвали его к Мэри Руа, он бы вошел, понюхал воздух в комнате, взял больную за подбородок и долго смотрел ей в глаза. Убедившись, что органических нарушений нет, он вышел бы к нам, закрыл за собой дверь и прямо сказал: «Дитя умирает от разбитого сердца».

Макдьюи не отвечал. Значит, кара все же есть, тебя судят и осуждают. Неужели где-то есть инстанция, отмеряющая меру за меру? Сколько же нужно выплатить? Кто считает, что за жизнь больной кошки надо отдать всю свою жизнь и радость?

– Если бы я не был современным медиком, который шагу не ступит без анализов, я бы согласился с дедушкой, – продолжал доктор Стрэтси и вдруг спросил: – Эндрю, вы никогда не думали снова жениться?

Макдьюи остановился и посмотрел на него. Месяц назад он бы твердо ответил: «Нет». Но сейчас он знал, что доктор Стрэтси, чутьем прирожденного врача угадавший недуг дочери, угадал и его болезнь.

– Ладно, ладно, – поспешно прибавил тот, заметив его смущение. – Это ваше дело. Просто Мэри Руа нужна любовь.

– Да я же ее страшно люблю! – вскричал Макдьюи и вдруг сам не понял, кого он имеет в виду – Мэри или Лори. Сейчас он знал, что любит обеих, но одна от него уходит, другая – недостижима.

– Все мы так, – сказал доктор Стрэтси. – Все мы, отцы, любим их страшно – властно, эгоистично, как свой образ или свою собственность. Мы им показываем впрок, как любят мужчины. То ли дело женская любовь! Она не давит, терпит, прощает, хочет обречь и защитить.

– Я тоже хотел... – начал Макдьюи, но Стрэтси прервал его:

– Эндрю, я ничего не говорю, вы хотели, но ведь что-то случилось, правда? Что-то у вас с ней случилось, это не в ту ночь началось.

– Да, – ответил Макдьюи. – Это началось, когда я усыпил ее кошку.

– Так я и думал. Именно во время беды и нужны оба – и отец, и мать. Каждый дает свое. Он – силу, она – понимание и милость.

– Значит, это вы и пропишите? – спросил Макдьюи с таким отчаянием, что Стрэтси поспешил сказать:

– Ну-ну, еще не конец! Я сказал «серьезно больна», но процесс обратим. Непосредственной опасности нет, организм у нее здоровый, он сопротивляется, мы ему поможем. А пропишу я любовь в самых больших дозах. Это лучшее лекарство и для детей, и для женщин, и для нас, мужчин, и для животных. Ну, это вы и сами знаете, вы же их лечите, не я. До свидания, Эндрью. – И он ушел.

А Макдьюи вошел в свой дом, снял шляпу и плащ и направился к Мэри. Он уже привык к тишине и не удивился, что никто не говорит, не бежит и не смеется.

Мэри Руа лежала на спине и смотрела в потолок. Миссис Маккензи, сидевшая у ее постели, встала, сложила шитье и пробормотала, что ей нужно на кухню. Макдьюи опустился на колени и обнял дочь. Он крепко прижал ее к себе, словно хотел, чтобы его любовь перелилась в ее сердце, но сказать ничего не мог. Впервые в жизни он понял, о чем говорил доктор Стрэтси. Он понял, чего не хватает в мужской любви. Несмело погладив Мэри по голове и по руке, он отпустил ее, видя – просто глазами видя, – как нежно склонилась бы над ней Лори. Ясно, словно она стояла рядом, он представил себе, как смешались бы ее медные волосы с червонно-золотыми волосами, и вспоминал, как она баюкала раненого барсука.

Он встал с колен, сел на стул и в сотый раз стал думать о том, как – в сотый же раз – мечта его рушится под напором жестокой правды.

Лори неполноценна, Лори больна, и для ее болезни у его науки есть немало умных слов. Лори слышит голоса и беседует с гномами, Лори отреклась от мира, Лори служит не людям, а животным, не жизни, а мифу. По какой-то невыносимой иронии судьбы именно Лори не может стать той, кого доктор Стрэтси прописал и одинокой девочке, и злему, одинокому мужчине. Макдьюи закрыл лицо руками, долго сидел так, ничего не надумал, а подняв голову, увидел, что Мэри Руа заснула.

Теперь и он различал все, о чем сказал ему Стрэтси, – и нездоровый цвет кожи, и тени, и худобу. Но больше всего поразила его бессильная покорность ее губ: уголки их опустились, словно она уже не хотела ни радоваться, ни жить. Он тяжело поднялся и вышел. Наконец, он понял, что ему делать: поговорить с отцом Энгусом Педди, настоятелем здешней церкви. Макдьюи часто заходил вечером в соседний домик, к другу, чтобы выкурить с ним трубку или выпить пива. Но сейчас он не мог задать свой вопрос кое-как, на ходу, по-приятельски. Он пошел, так сказать, к нему на службу и смутился, как деревенский прихожанин, поджидающий священника на кончике стула, со шляпой в руке. Ему казалось, что он не так одет и вообще тут не к месту.

На самом деле одет он был как всегда – в твидовый пиджак с кожаными локтями, и шляпы у него не было, но сидел он действительно на краю стула и смотрел на Энгуса Педди (который, в свою очередь, сидел за столом, заваленным книгами и папками, и походил на занявшегося писательством Пиквика), на вазон с цветком, на книжный шкаф, шахматы, узор обоев и темные панели.

Когда он вошел, Педди не удивился, но сказал просто:

– Заходи, Эндрью, и подожди. Да нет, не мешаешь. Паства тебе спасибо скажет – проповедь станет на пятнадцать минут короче. Ради тебя я сейчас и кончу.

Однако разговор не начинался, и оба они молчали, пока многострадальная Цесси не вылезла из корзинки, стоявшей у письменного стола, не подошла к своему врачу и не встала на задние лапы.

У локтя Макдьюи стояла вазочка с конфетами. Он рассеянно взял одну и дал ее собаке, а та закатила глаза и плюхнулась на пол.

Отец Энгус торжествующе посмотрел на друга.

– Вот видишь? – сказал он.

Макдьюи рассмеялся, и им обоим стало легче. Ветеринар набил трубку, закурил и сказал священнику:

– Хочу с тобой посоветоваться. – И поспешил объяснить: – Нет, не насчет Мэри, насчет Лори.

Энгус Педди не удивился.

– А, насчет Лори! – сказал он. – Да, ты ведь думал к ней съездить. Значит, ездил?

Ветеринар вспомнил, как священник его предупреждал об опасности, и подумал, что бы он сказал теперь, когда его, Макдьои, настигла любовь не к Богу, а к Лори. Но ответил он только:

– Да, несколько раз.

– И сделал, что собирался? – осторожно спросил Педди.

– Нет, это не нужно. Она ни в чем не виновата. Мне, знаешь, наговорили на нее...

Отец Энгус радостно улыбнулся:

– Слава Богу! Так я и знал, что ты поймешь.

– Она ни в чем не виновата, – повторил Макдьои. – Она очень хорошая. Только... видишь ли, у нее навязчивые идеи. Не злые, добрые. Ей кажется, что она понимает животных, а они – ее. Вообще-то они действительно ее во всем слушаются, но ведь это можно объяснить и без чудес. Потом, ей кажется, что она беседует с ангелами, слышит шелест их крыльев, голоса...

– Помнишь, – сказал Педди, – был на земле человек по имени Франциск ^[15], который попросил птиц не шуметь и сказал им проповедь? Он считал бессловесных своими братьями и сестрами, а теперь и ученые его поддержали – человек во многом подобен животному...

Макдьои рассердился, что приободрило его друга, потому что кроткий Эндрью был как бы и не живой.

– А ну тебя! – крикнул он. – И что вы за люди! Как угри, честное слово! Ты прекрасно знаешь, что Лори не в себе! Она построила собственный мир. Она...

– Конечно, знаю! – перебил его Педди. – У вас есть ярлык для всего, что не входит в ваши рамки, – неврастения, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз. Нам остается немного: выбрать себе подходящую лечебницу.

– Ты хочешь меня убедить, что она здорова? – спросил Макдьои с прежней воинственностью, порадовавшей друга.

Священник встал, подошел к окну и посмотрел на белую церковь, на белые плиты кладбища и синие воды залива. Он думал довольно долго, потом обернулся и сказал:

– Если те, кто пытается общаться с Богом, сумасшедшие, – здоровых почти нет. Скажу иначе: Христос призвал нас к состраданию. Две тысячи лет назад Он возвестил о любви, жалости и милости в

жестоком безумном мире. Но мир туго поддается, все дальше уходит от Божьего здравомыслия. В прежнее время, лет пятьсот назад. Лори считали бы святой.

– Скорее, ведьмой, – мрачно поправил Макдьои. – Ее и сейчас так называют. Нет, ты мне скажи: если она больна... если у нее безвредный психоз... она живет в придуманном мире... Если она, как говорится, тронутая... или, по-твоему, святая... Грех это или не грех...

Он замолчал, но маленький толстый священник отошел от окна и строго спросил:

– Тебе-то что до греха, Эндрью Макдьои? Разве ты не знаешь, что грех – наша привилегия, а одно из ваших наказаний в том, что для вас греха нет?

– Ты надо мной смеешься? – несмело проговорил Макдьои.

– Ну, что ты! Разве ты не видишь, что загнал себя в полный тупик? Если ты не веришь в Бога, для тебя нет и греха. А если веришь – Лори не больная, а добрая, кроткая, милостивая. Она – анахронизм Божий в жестоком и больном мире.

– Все у тебя Бог! – заорал Макдьои. – Что от Него, деться некуда?

– Конечно, некуда, Эндрью, – звонко ответил Педди и продолжил помягче:– Ты не удивляйся, что я о Нем всегда говорю. Психиатр говорил бы с тобой о неврозах и всяких там либидо, врач – о железах каких-нибудь, слесарь о трубах. Что же странного, когда священник говорит о Боге?

Макдьои ответил ему глухо и без гнева:

– Тяжелую задачу ты задал мне, Энгус.

– Правда? – удивился Педди. – Вот не думал! Ты и Лори живете в противоположных концах ваших собственных миров. Если бы каждый из вас чуть-чуть подвинулся к другому...

– Да невозможно это! Ты пойми, она слышит голоса, прямо слышит...

– Что ж, и Жанна д'Арк слышала, – отвечал Педди, невинно глядя на него. – Тебе не приходило в голову, что голоса и правда есть, а не слышим их мы?

Макдьои встал, подошел к шахматной доске и рассеянно переставил пешку. «Значит, вот и нами так орудуют? – думал он. – А правила игры там есть? Нет, не могу, не могу, не могу!» Он подошел к двери, но на пороге сказал с искренней печалью.

– Ты не помог мне, Энгус.

– Прости меня, Эндрью, – откликнулся священник. – В конце концов, ты сам себе поможешь. Не ты найдешь – тебя найдут, так оно бывает всегда. Ты почувствуешь, что это не столько вера в какие-то мифы или факты, сколько особое чувство, уверенность такая, которая заполняет человека, пока сомнению не останется и уголка. Тут никто не пройдет за тебя пути. Мы не знаем, как это произойдет, и не можем предсказать, когда придет.

– Я тебя не понимаю, – сказал Макдьюи.

– Ну и не надо, – мягко отвечал Педди и глубоко вздохнул. Макдьюи вышел и тихо закрыл за собой дверь. А маленький священник долго сидел у стола и думал о том, правильно ли он говорил и как это трудно узнать.

Три мальчика сидели рядом на неудобной скамейке, ожидая приема. Макдьюи узнал их и выглянул в дверь (надо сказать, вид у него был гораздо менее сердитый, чем раньше). То были Джорди Макнэб, Джеми Брайд и Хьюги Стирлинг. Ему стало интересно, зачем они пришли, и, отпустив последнего пациента, он отослал Вилли в палату, открыл дверь и крикнул:

– Заходите, ребята!

Они вошли важно, встали по росту, словно три органных трубы, и Хьюги сказал за всех:

– Как Мэри Руа? Лучше ей? Можно нам ее навестить?

– Мэри Руа очень больна, – серьезно отвечал Макдьюи. – Зайти к ней можно. Попробуйте ее развлечь. Вы молодцы, что вспомнили о ней и спросили у меня разрешения.

– Мы не знали, что ей так худо, – сказал Джеми Брайд. – Я ее не видел с похорон... – И осекся под суровым взглядом Хьюги.

– А кошка у нее есть? – спросил Джорди.

С таким маленьким Хьюги обошелся мягче – он положил ему руку на плечо и сказал:

– Брось, Джорди! Сам увидишь. – И обратился к ветеринару: – Я слышал, она не разговаривает. Это правда, сэр?

– Она потеряла речь, – ответил Макдьюи. – Мы надеемся, что это временно. А вы к ней пойдите, расскажите ей что-нибудь занятное... Может... может, она с вами заговорит. Тогда кто-нибудь из вас прибежит и мне скажет, ладно?

– Хорошо, сэр, – сказал Хьюги. – Мы с папой ходили на яхте и чуть не утонули. Я ей расскажу, она посмеется.

Все трое не двинулись с места, и Макдьюи понял, что, как он и подозревал, они пришли не только к Мэри Руа.

– Сэр, – сказал Хьюги Стирлинг. – Можно с вами поговорить об одном деле?

Макдьюи долго раскуривал трубку, потом проговорил сквозь облако дыма:

– Да.

– Сэр, – начал Хьюги, – мы ходили вчера смотреть цыган. Это я виноват, я их повел. И деньги были мои.

– Мы тоже виноваты, – прервал Джеми Брайд. – Мы сами пошли.

– Они медведя бьют! – закричал Джорди, и накопившиеся слезы хлынули из его глаз.

– Так-так, – сказал Макдьюи, хотя и не все понял.

– Понимаете, – снова вступил Хьюги, – нам не разрешили идти. Дома очень рассердятся, если узнают.

– И правы будут, – заметил Макдьюи. – Детям туда нечего ходить.

– Нет, понимаете, там было представление! – объяснил Хьюги. – Как в цирке. Они скачут на лошадях, там лисы выступают, медведи. Я-то видел медведя в зоопарке, когда ездил в Эдинбург, я и в цирке был, но они вот никогда не видели живого медведя. А тут моя тетя, леди Стюарт, подарила мне полкроны, и еще у меня был шестипенсовик. Вот мы все и пошли. Там билеты по шиллингу.

– Лучше б я не ходил! – вставил Джеми.

– Медведя бьют! – заголосил Джорди. – Он упал и заплакал! И он заплакал сам, а Хьюги вынул платок, вытер ему щеки и нос и обратился к Макдьюи:

– Да, сэр, они били медведя. Они очень злые. Они и медведя бьют, и лошадей, и собак, и обезьянку. Наверное, они рассердились, что народу пришло мало и все одни деревенские. Медведь у них совсем тощий, он не может плясать, и они его бьют цепью.

Макдьюи кивнул.

– Это не все, сэр, – продолжал Хьюги. – Там у них звери в клетках. Они должны были нам показать и не показали, очень рассердились, что мало народу, а мы сами пошли и посмотрели. Темно было, не разглядишь, но эти звери были и плакали. И пахло у них очень плохо.

Макдьюи снова скрылся в облаке дыма.

– Так, – сказал он. – Чего же вы хотите от меня?

– Чтобы вы послали туда полицию [\[16\]](#), – отвечал Хьюги.

– Похвально, – заметил ветеринар. – Только что ж вы прямо не пошли к Макквори? Это по его части. Мальчики переглянулись.

– Констебль Макквори сказал, – сообщил Хьюги, – что если он увидит нас около табора, он с нас шкуру спустит.

– М-да, – сказал Макдьюи. – Значит, все должен сделать я. А что именно?

– Мы думали, сэр, – с облегчением заговорил Хьюги, – что вы туда пойдете как доктор, все разведаете, и они вас испугаются, или вы скажете полиции...

– Да у меня времени нет, – не сразу ответил Макдьюи. – Мэри больна...

– Мы бы с ней посидели! Понимаете, если мы напишем в полицию анонимное письмо, медведь не дотянет.

Джорди снова зарыдал:

– Он его цепью ударил в нос! У него кровь текла!

Макдьюи стал сердито выбивать трубку. Джорди собрал все свое мужество и добавил потише:

– Медведь хромой. Из-за этого он и плясать не хочет. У него лапа раненая.

Макдьюи вздохнул.

– М-да, картинка неутешительная...

– Значит, вы пойдете, сэр? – живо спросил Хьюги.

Макдьюи очень не хотелось вмешиваться. Кто их знает, что им померещилось... Там дымно, темно, и все кажется страшнее, чем есть. Но коротенькие фразы Джорди и Джемми врезались в его сознание, и он как будто видел сам беспомощных, замученных зверей. Он вспомнил, что именно Джорди принес ему хромую лягушку, а он его выгнал; и ему показалось, что он в долгу и перед ним, и перед Лори.

– Я подумаю, – сказал он.

Хьюги понял, что в переводе со взрослого это значит: «Я пойду», хотя Макдьюи еще и сам того не знал.

Мальчишки вышли, и Хьюги сказал, задержавшись в дверях:

– Спасибо, сэр. Мы правда пришли из-за Мэри. Но раз уж мы были тут, мы и про это спросили. Джорди очень плачет, сами видите.

Макдьюи положил ему руку на плечо и сказал с неожиданной нежностью:

– Тебе спасибо, Хьюги. Ну, беги!

Когда они исчезли, он долго курил и думал, что же с ним такое. Думал и Джорди Макнэб. В его переводе фраза ветеринара означала: «Я забуду». Не только Макдьюи вспомнил о лягушке и о доме, где жалеют всех незащитных.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Все у нас изменилось. Никто мне не служит, даже Лори, моя собственная жрица.

Я печальна – это я, воплощение радости, гордости и силы! Я не скачу, и не пляшу, и не взлетаю на дерево. Иногда я даже сомневаюсь, богиня ли я, и не знаю, кто я такая. Мне мерещится какая-то странная, другая жизнь, но я никому о ней не говорю. Даже Макмердоку и Вулли. Кто я теперь? Где я? Почему?

Зовут меня Талифой – я не знаю, что это значит, но Лори это имя понимает и улыбается, произнося его. То ли дело, когда меня называют богиней!

И Лори изменилась. Она реже слушает голоса, чаще смотрит на тропинку и ждет, когда зазвонит колокольчик.

Я-то знаю, кого она ждет и высматривает, и еще больше хочу погубить Рыжебородого.

Погибель ему я создаю, когда Лори сидит и ткет, а я лежу у печки, подобрав лапы, и гляжу на нее сквозь приоткрытую дверь. Дело в том, что занятия наши подобны друг другу.

Станок стоит в пустой, беленой комнате. За окном – лес и ручей, и однажды я видела, как из лесу вышла косуля и положила на подоконник голову. Лори остановилась на минуту, и они поглядели одна на другую так нежно, что я чуть не лопнула от ревности. Я не могу вынести, когда Лори служит кому-нибудь, кроме меня.

Днем, пока светло, солнце заливает комнату, и всеми цветами сверкают мотки пряжи, которые ей приносят фермеры, чтобы она соткала пледы и плащи. Цвета прямо поют и пляшут, а ярче всего сверкают медные волосы. Сосредоточенно глядя на нитки, моя Лори ткет пестрые полосы, пальцы ее летают, а я лежу у печки и сплетаю нити гибели моего рыжебородого недруга.

Творить чью-то судьбу – все равно что ткать. В основу характера – гордыни, жадности, привычек, нетерпимости, тоски, веры, любви и ненависти – мы вплетаем нити случая, нити чужих жизней, встреч с чужими, со своими, с молодыми и старыми, с виновными и

невиновными, нити случайных слов и слов сердитых, о которых потом жалеют, нити забытых вещей, забытых дел, дурных настроений.

Это нелегко. Последний раз я сплела погибель смертному четыре тысячи лет назад. А сейчас мне мешают какие-то силы. Их особенно много в комнате Лори.

Лори ткала, пальцы ее сновали, и вдруг, схватившись за раму, она посмотрела в отчаянии и страхе и крикнула:

– Кто же я? Что со мной? Что с моим сердцем?

Меня охватила черная ревность, такая жестокая, что я выпустила нить. Я побежала к Лори и потерлась о ее ноги. Она рассеянно погладила меня, но смотрела все так же вдаль; и я рванулась к печке, села спиной к двери.

Птицы умолкли; Питер, наш шотландский терьер, заскулил и затрясся; Вулли и Макмердок распушили хвосты и ушли куда-то; Доркас не умывала котят, но нетерпеливо била их лапой, когда они пытались от нее отойти. Небо покрылось тучами; я знала, что стемнеет рано.

Я гордо встала и подняла хвост. Все это сделала я. Я знала, что этой же ночью мне уже не придется делить Лори ни с кем.

Вдруг в сгущающейся полумгле зазвонил колокольчик – так громко, что эхо прокатилось по всей лощине. Галка вскрикнула и улетела, тревожно хлопая крыльями. Питер жутко залаял, а потом заскулил. Застучали Лорины шаги. А я, Баст, богиня и владычица, почувствовала, что снова мешают какие-то силы.

Я осторожно высунулась из-за угла. Никого не было, Лори стояла одна и озиралась. Я вышла и приблизилась к ней. Тогда Питер стал громко лаять и копать лапами у ее ног. И все мы увидели, что под камнем лежит какая-то бумажка.

Лори опустилась на колени, схватила ее и стала читать вслух, – трудно было разобрать каракули, становилось все темнее.

"По-жа-луй-ста, пойдите к цыганам и сделайте там что-нибудь. Они бьют зверей. Они бьют медведя, который больной. Если вы не пойдете, он умрет. Пойдите, пожалуйста. Пре-дан-ный вам Джорди.

Р.5. Это я принес лягушку".

Лори долго стояла на коленях, читала и перечитывала. Потом поднялась и посмотрела вдаль.

У меня вся шерсть поднялась дыбом. Этого я не вплетала! В чем я ошиблась? Что забыла? Что спутала? А может быть, все дело в том, что я вплетала в основу нити злобы, а Лори – нити любви?

– Идите сюда! – позвала нас Лори. – Поужинаем, мне далеко идти.

– Лори, не ходи! – закричала я. – Там гибель и смерть. Я вынесла приговор. Останься со мной. Там тебе нечего делать.

В доброе старое время мои жрицы поняли бы. Но Лори сказала:

– Ты что, проголодалась, Талифа? Идем, идем, а то я спешу, я нужна.

Я чуть не заплакала от злости и отчаяния. Лори ушла в мой храм и вернулась в темном плаще, который она сама сшила. В руке у нее был фонарь, и лицо ее казалось бледнее, а волосы – тусклее. Мы сидели и ждали ее, как верные подданные. Собаки скулили, прикатился ежик, развернулся, сел и сморщил нос. Мы, кошки и коты, сидели со свойственным нам достоинством, обернув хвосты вокруг лап, но по усам можно было понять, что мы встревожены.

– Не бойтесь, – сказала Лори. – Нечего бояться. Ждите меня. Помогу и вернусь к вам.

Она прибавила еще раз: «Не бойтесь», – и пошла по дорожке.

Стадо совсем тихо. Желтый свет фонаря падал к ее ногам. Я тихо шла за ней до поворота, а там вскочила на камень. Желтый свет фонаря помелькал среди деревьев и исчез. «Что будет с Лори? – думала я. – Что будет с моей мстью Рыжебородому? Что будет с нами, если она падет и на Лори?»

Всей божественной силой я пожелала Лори вернуться, спастись от цыган, чьи судьбы я сплела с судьбой Недруга. И вдруг мне показалось, что я не богиня, а кто-то другой, неизвестно кто. И этот неизвестный тосковал, так тосковал по какому-то месту или человеку, что, будь это и впрямь я, у меня бы сердце разорвалось.

Внизу мелькнул какой-то свет, и все вернулось. Я снова была богиней.

Свет мелькнул еще раз, разгорелся, я увидела желтое пламя, какое бывает в печке. Оно исчезло, появилось и вдруг красно-желтый отблеск заиграл на небе.

Огонь! Пожар! Пламя!

Что-то горело внизу, в долине. Я застыла от ужаса. Что это? Где Лори? Я не вплетала в мою мсть никакого огня. Я не взывала к отцу

моему Ра, повелителю пламени.

Огонь разгорался все ярче. Всевидящим оком богини я различила (хотя и не видя их) Лори и Рыжебородого среди языков пламени. Что-то я спутала. Что-то вмешалось, вплелась какая-то нить, и Лори грозит гибель.

Я лежала во тьме, тряслась от страха, а красные отблески все ярче пылали на низких тучах.

Было уже часов девять, когда Макдьои сделал то, что обещал трем мальчикам, – подумал, поехать ли ему в цыганский табор. Чем больше он думал, тем меньше ему это нравилось. Он не любил вмешиваться в чужие дела. Ему казалось, что надо бы просто зайти наутро к Макквори.

Он встал из-за стола, повернулся, чтобы идти к дверям, и увидел то место на ковре, где – один другого ниже – стояли днем мальчики. Тогда он ясно вспомнил их лица, особенно – залитое слезами лицо Джорди Макнэба и его крик: «Медведя бьют!» Вспомнил он и барсука, его страдающий взгляд, обращенный к Лори, и рыцарственную смелость.

Как спокойно и доверчиво лежал барсук на руках у Лори, зная, что где она, там исцеление! Макдьои подумал о том, как жалела бы и лечила она медведя, и о том, как нежны ее руки.

Он закрыл дверь на ключ и пошел в соседний дом, в комнату Мэри Руа. Миссис Маккензи читала ей, а она смотрела на нее тусклыми глазами.

– Я вошла, она не спит, – объяснила миссис Маккензи. – Думаю: дай почитаю, она и заснет.

Теперь он увидел свою дочь у Лори на руках, и медные волосы, смешавшиеся с червонно-золотыми. Сердце у него упало, словно выпало из груди.

– Посипите с ней, – сказал он. – Мне надо уехать по делу.

В дверях он обернулся и прибавил:

– Если что, я у цыган, в таборе. Пошлите за мной.

– Посижу, никуда не денусь, – отвечала миссис Маккензи на его первые фразы. Ей очень хотелось его утешить, ей стало жалко его.

Когда Макдьои доехал до табора, было совсем темно. Он ехал медленно и в слабом свете фар различил в стороне два фургона с клетками, а у самой дороги, на лужайке – палатки гадалок и другие палатки, побольше, где, вероятно, продавали сомнительные сладости. Перед ним стояли облитые парафином факелы, дававшие мало света и много дыма. Впереди, перегораживая дорогу, виднелись ряды

самодельных скамеек, точнее – досок, положенных на ящики и бочки. На них сидели человек десять.

Макдьюи услышал резкий звук, вроде пистолетного выстрела, и сразу вслед за этим – странное, болезненное ржание. Он затормозил и увидел, что высокий парень в сапогах, черной рубаше и широком, усеянном заклепками кушаке, бьет лошадь хлыстом. Ветеринар тихо поставил машину у дороги и вышел. Ладони у него вспотели, во рту горчило от ярости.

Эндрю Макдьюи не привык полагаться на чутье, но сейчас он пожалел, что не взял с собой хотя бы трости или хлыста. Дух злобы, цинизма и вражды, словно острый запах, хлынул на него.

У входа сидела старая цыганка с грязным черным кошельем на груди. Плакат гласил: «Вход – 1 шиллинг». Макдьюи бросил бумажку в десять шиллингов, цыганка сунула руку в кошель и вынула горсть мелочи, сердито бормоча: «Скорей, скорей, представление началось».

– Ладно, мамаша, – сказал Макдьюи. – Давай еще один шиллинг. Старая штука, не пройдет!

Она визгливо заорала, и сзади, из мрака, вышел грозного вида мужчина – тот самый, в сапогах и в кушаке. В руке у него был хлыст с налитой свинцовой рукояткой.

– Вы что? – закричал он. – Бедную женщину грабите? Мы тут не богачи!

– Старый трюк! – крикнул Макдьюи. – Я дал ей десять шиллингов. Посчитайте-ка сдачу!

Цыган считать не стал, сделал знак цыганке, и та извлекла недостающий шиллинг. Макдьюи положил его в карман и переступил через веревку, огораживающую зрительный зал.

На деревянном помосте сидело трое цыган и одна цыганка. Мужчины играли на скрипках и на аккордеоне, женщина била в бубен. Представление уже началось – бравые парни скакали на лошадях. Макдьюи посмотрел на них и поразились их наглости: все, что они делали, мог бы сделать любой деревенский мальчишка лет десяти.

Снова заржала от боли лошадь, и, чтобы заглушить этот звук, цыганка еще громче завизжала и забила в бубен. Никто не смотрел на Макдьюи. Он встал, обогнул ряды, пересек темную поляну и пошел туда, где, судя по запаху, стояли фургоны.

Запах был жуткий. Во мраке что-то шуршало, кто-то скулил и подвывал, и плакала какая-то женщина. Макдьои прислушался, но разобрать ничего не смог и щелкнул зажигалкой, прикрывая ладонью огонек.

– Лори! – крикнул он.

– Эндрю.

От удивления он не заметил, что она впервые назвала его по имени. Ее самое он разглядел не сразу, потому что она была в темном плаще, капюшон закрывал рыжие волосы, и стояла она на коленях перед открытой клеткой. На руках она держала полуживую обезьянку, которая плакала и сосала ее палец.

– Тише! – прошептал Макдьои. Он не спросил, почему она здесь, даже не очень удивился.

Прикрывая ладонью зажигалку, он прошел мимо клеток и увидел, что все звери еле живы. Они лежали тяжело дыша, на боку или сжавшись в комочек. В одной клетке был горностай, две лисицы, белка и хорек. В другой – кучей перьев забился в угол какой-то общипанный орел, в третьей – сидели три обезьянки. Клетки были маленькие и немыслимо, невообразимо грязные. На полу, в одной из них, валялся заяц, и по запаху его и позе Макдьои прикинул, что он издох несколько дней тому назад.

Теперь глаза Макдьои привыкли к темноте. Потушив зажигалку, он наклонился к Лори и увидел в слабом свете факелов, что она очень бледна.

– Эндрю, что с ней? – тихо спросила Лори. – Она сейчас умрет...

– Изголодалась, – ответил он и вынул из кармана морковку. Обезьянка схватила ее и, рыдая от радости, сжевала в один миг. Шесть тощих лап протянулись к врачу сквозь прутья. Он всегда носил еду для зверей и отдал им все.

До них долетели крики, музыка и аплодисменты.

– Пойдем, – сказал Макдьои, наклонился и помог Лори встать. – Нам тут больше делать нечего.

– А как же я ее брошу? – прошептала она. Обезьянка припала к ней, крепко обнимая за шею.

– Посадим ее в клетку, – сказал он, мягко взял зверька и посадил на прежнее место. – Когда я с ними управлюсь, мы ей поможем. Пошли.

И они пошли сквозь зловещую тьму. Все дышало здесь жестокостью. Макдьои благодарил судьбу, что рядом с ним такая добрая женщина, и, как противоядие, вдыхал нежный запах ее волос.

Когда они дошли до освещенного места и остановились во мраке, перед зрителями как раз появились четыре парня. Они тащили небольшую – не больше конуры – клетку. За ними шел толстый цыган в засаленном костюме укротителя. Снова появился наглый парень в черном кушаке и после музыкального вступления сообщил зрителям, что толстый цыган – сам Дарвас Урсино, лучший в мире дрессировщик. Клетку открыли и выволокли оттуда на цепи маленького черного медведя.

– Медведь! – охнула Лори. – Это бедный медведь, про которого он писал.

– Кто писал? – удивился Макдьои.

– Какой-то Джорди. Он мне когда-то лягушку принес.

– Ах ты, чертенок! – сказал Макдьои и понял, почему Лори тут.

– Что они с ним будут делать? – спросила Лори.

– Подождем – увидим.

Толстый, а к тому же и пьяный, цыган повернул медведя правым боком к зрителям. Но острым взглядом врача Макдьои сразу увидел большую открытую рану на задней лапе и не удивился, что медведь сильно хромает.

Увидел он и струпья на нежном медвежьем носу. И Эндрью Макдьои, хирург, привыкший к боли и крови, почувствовал: если кровь покажется снова, ему этого не вынести.

Музыканты заиграли чардаш, а толстый пьяный цыган, дергая за цепь, заставлял медведя встать на задние лапы. Рядом крутился парень в кушаке, подстегивая зверя кнутом. Толстый прикрикивал: «Хоп!», дергая за цепь, пускался в пляс, но медведь на четвереньках еле стоял, все время валился на бок. Глаза его испуганно блеснули. Он приоткрыл пасть, и стало видно, что зубы у него все поломаны, он бы и ребенка не смог укусить.

Макдьои ждал. Он не знал, что будет, он знал только, что глядит на все глазами Лори и заплаканными глазами Джорди. Медведь был очень худой, шкура у него на ляжках висела мешком, как штаны у клоуна, и Макдьои подумал, что в жизни не видел такого жалкого зрелища.

Зверь снова упал, толстый дернул его за цепь, а парень ударил в нос рукояткой кнута, и черная струйка блеснула в свете факелов.

Макдьои услышал, как кричит Лори; он не помнил, как вырвался от нее, как кинулся к сцене, но хорошо запомнил, с какой силой и радостью ударил парня кулаком в лицо. Попади он в висок, цыган бы умер. Но он только разбил ему нос и повалил навзничь на дощатый пол сцены.

Тут ветеринар вырвал у дрессировщика кнут и заорал: «Пляши, кабан! А ну, пляши!»

Зрители закричали: «Браво!», «Так его!», «Поделом!» – но в дело не вмешивались и даже побежали прочь, когда услышали топот копыт. Сбежал и пьяный дрессировщик. Парень лежал навзничь, прижимая ладонь к разбитому лицу, а медведь лежал на брюхе, как-то странно распластавшись, и пытался лизнуть свой нос.

Когда к сцене подскакали человек пять, Макдьои крикнул:

– Кто у вас тут главный?

Увидев, что парень весь в крови и рыжебородый пришелец их не боится, цыгане растерялись и не стали нападать. Один из них сказал:

– Король Таргу у себя, в фургоне. Если он вам нужен, можете зайти туда. Макдьои заорал оставшимся зрителям:

– Идите домой! Представления не будет! – Он подошел к Лори, которая стояла на коленях и, положив левую руку медведю под голову, отирала ему кровь платком.

– Идите и вы. Лори, – сказал он. – Все в порядке, но могут быть... ну, затруднения. Пожалуйста, идите домой.

Она встала и пошла рядом с ним туда, где был король Таргу.

Люди расступились перед ними, но проход был так узок, что они касались цыган плечами, а когда они проходили, те сразу смыкались за их спинами.

От гнева и жалости Макдьои забыл о страхе. Он знал, что свалит короля Таргу с ног, как того парня, даже если он – великан.

Но Таргу великаном не был. К Эндрью и Лори вышел темнолицый человек со свинными глазками, в обыкновенных брюках, рубашке, жилете и котелке. О том, что он цыган, можно было догадаться только по серье в левом ухе. За ним шли цыгане, цыганки и оборванные цыганята.

– Это вы Таргу? – спросил Макдьои. – Вы вожак этой шайки?

– Да, я король Таргу, – глухим и тонким голосом отвечал человек в котелке. – Что вам нужно? По какому праву вы бьете моих людей? Зачем вы привели сюда рыжую ведьму, которая сглазит наших деток?

– Разберемся в полиции, – сказал Макдьои. – Я обвиняю вас в жестоком обращении с...

Осталось неизвестным, собирался ли цыганский король убить своего обидчика: раздался дикий крик на чужом языке, и сквозь толпу цыган ворвался парень с разбитым в кровь лицом. Взмахнув цепью, он кинулся на Макдьои.

Ветеринара спасло то, что удар пришелся по спине какому-то цыгану. Тот упал, но остальные мигом выхватили ножи.

Обхватив Лори левой рукой, Эндрью принялся орудовать рукояткой хлыста и расчистил было дорогу, но тут Лори оттерли, а его ударили чем-то по голове. Он пошатнулся, и палка его сломалась о фургон. Ему удалось схватить какой-то железный брус, но он знал, что минуты его – считанные: цыгане подступали все ближе, как псы к раненому зверю. Одни даже влезли на фургон, чтобы напасть на него сверху, а другие, из-под фургона, пытались схватить его за ноги.

И тогда он услышал странный голос, перекрывающий и брань, и тяжелое, свистящее дыхание озверевших людей.

– За Макдьои! За Макдьои!

Это Лори, вырвавшись чудом, схватила один из факелов и кинулась на цыган, размахивая им, как мечом. Яркое сияние пламени и волос окружило ее лицо. А лицо это изменилось так, что Макдьои до конца своих дней запомнил этот, новый облик, хотя больше никогда его не видел. Нежность исчезла. Такими были жены кельтских вождей, сражавшиеся с ними бок о бок.

– За Макдьои! – кричала она, и перед пламенным мечом расступились цыгане, открывая ей путь к Эндрью. Она обняла его за плечи левой рукой и повела прочь, оглашая воздух боевым кличем. Пройдя весь ряд фургонов, она бросила в последний фургон горящий факел.

Пламя побежало по легким, просмоленным повозкам. Цыгане метались, хватали ведра, бежали к реке. Макдьои и Лори были уже у клеток. Он опустился на колени, и она стала рядом с ним.

– Эндрью! – воскликнула она. – Вы ранены?

А он ответил:

– Да нет, ничего, устал.

Она не видела, что на волосах у него кровь, она смотрела ему в глаза, и взгляд ее еще не утратил дикой отваги.

– Эндрью! – сказала она снова. – Эндрью!...

Обхватила его голову, поцеловала его, вскочила и умчалась к лошине, словно лань.

– Лори! Лори, вернись! – кричал он ей вслед, но она не вернулась, и он остался стоять на коленях у клеток. Он не знал, жив он, мертв или ему все это снится. Стало темней и тише. Пожар затихал, цыгане кое-как его тушили.

«Пора уходить», – сказал себе Макдьюи; но оставалось выполнить еще один долг. Перепуганные звери выли, лаяли, кричали на все голоса. Ветеринар открыл клетки и выпустил пленных: если уж им погибать, так на свободе. Потом он побрел к своей машине.

У деревянного помоста, где все и началось, лежало что-то темное. Это был медведь. Он умер. Макдьюи посмотрел сверху на кучу черного меха и подумал, что Джорди будет очень плакать, если узнает. Еще он подумал о том, что те, первые слезы Джорди дали хорошие всходы, и о том, что если Лори бежала этой дорогой, она видела беднягу и поплакала над ним. Он и сам был бы рад заплакать.

Проехав примерно милю, он остановился у реки, вышел из машины, отмыл кровь и определил, что рана не глубокая. Потом он с трудом сел за руль и направился в город.

У самого мостика его ослепили фары ехавшей навстречу машины. Он заметил, что на крыше – огонек, машина полицейская. Он остановился: констебль Макквори подошел к нему и сказал:

– Слава Богу, это вы, сэр!

– Пожар потушили, – сказал Макдьюи. – Я подам вам заявление, возбудим процесс против так называемого короля Таргу и дрессировщика...

– Да, да, – прервал его констебль. – Это все мы сделаем. Но я не потому здесь. Меня за вами послали. – Констебль опустил голову. – Вас ищут дома. Доктор Стрэтси просил вас отыскать.

– А... – сказал Макдьюи и задал вопрос, для которого ему понадобилось много больше мужества, чем для минувшей битвы: – Она жива или нет? Констебль снова поднял голову.

— Жива, сэр! — отвечал он. — Но доктор Стрэтси очень просил вас разыскать.

Что такое? Неужели я не богиня? Неужели все старые боги умерли или утратили силу? Неужели я просто Талифа, обыкновенная кошка, подобранная рыжей пряхой, которая живет одна и помогает беспомощным? А кто же это – Талифа, откуда она пришла? Где мне положено жить? Я хотела покарать врага и не сумела. Когда огонь в долине давно потух, Лори вернулась и прошла мимо камня, где я ждала. Она шла как слепая. В руке у нее был фонарь, и я увидела, что плащ и платье порваны, опалены огнем, запятнаны кровью, а лицо – все мокрое от слез.

Я неслышно двинулась за ней. Дом наш как будто заколдовали: Питер не залаял, подполз к ней на брюхе, тихо скуля, а кошки были злые, как ведьмы, и зашипели на меня.

– Что случилось? – спросил Вулли. – Что с Лори? У нее на платье кровь. Макмердок, который, как это ни скрывал, все же верил немножко в мою божественность, громко промяукал:

– Твои дела, да? Египетские штучки? Смотри у меня!

Я не удостоила его ответом и вошла в дом.

Лори села на скамейку к очагу как была, в крови и в грязи, и горько заплакала. Закрыла лицо руками и тихо плакала без конца. Чтобы ее утешить, я встала на задние лапы и передней лапой два раза тронула руку, закрывавшую лицо.

Она подняла меня и уткнулась в мой мех. Я думала раньше, что женщины так не плачут – без всхлипываний, без всякого звука, просто теплые слезы текут и текут, как вода.

Только один раз, прижавшись мокрой щекой к моей щеке, она сказала:

– Талифа! Что со мной будет? Что мне делать?

Ей бы помолиться богине Баст, или Исиде – плододарительнице, или Артемиде Целомудренной – кому-нибудь из моих воплощений, и я бы небо обрыскала, а умолила моего отца осушить ее слезы. Но кто теперь знает? Может, я ничего не могу?

Прошли часы, пока она встала, опустила меня на пол, сняла все грязное и порванное и помылась; но слезы все так же текли, словно

вода. И тут она сделала что-то странное – взяла лампу, подошла с ней к зеркалу и долго смотрелась в него, как будто никогда себя не видела. И заговорила с собой, как недавно со мной:

– Кто я такая теперь? Где Лори? Что мне делать? Что же мне делать?

Потом она пошла к себе, а я улеглась было у очага, но она позвала с лестницы:

– Талифа, иди ко мне, побудь со мной!

Раньше я к ней не ходила и остановилась в нерешительности.

– Иди, иди, – звала она. – Все ж не одна буду!

Я перекувыркнулась от радости, кинулась вверх, прямо к ней в руки, и замурлыкала, а она потерлась щекой об меня.

В белой комнате стояли кровать, стул и шкафчик. Лори села и, держа меня на руках, долго смотрела мне в глаза. Она уже не плакала.

– Скажи мне, Талифа, – попросила она. – Ты ведь умирала, ты знаешь, что это такое – покой, мир?

Я не понимала ее – ведь я умираю тысячи раз, но мое Ка просто плывет по Реке Тьмы между небом и землей и будет плыть всю вечность.

Лори отпустила меня, легла, потушила лампу и сказала:

– Спасибо, что побудешь со мной. Спокойной ночи.

Откуда-то из темноты до меня донесся несказанно прекрасный запах. Что это? Когда, в каком воплощении я знала и любила его? Почему я замурлыкала от радости? Я подняла голову и принялась. Да, откуда-то пахло. Лори мирно спада, тихо дышала, а я вдруг забеспокоилась – мне показалось, что мое потерянное Ка совсем рядом, вот тут, и если я его удержу, оно при мне и останется.

Дивный запах донесся снова, когда я уже засыпала. Я знала, что здесь, в ногах у Лори, я увижу хорошие сны, и спешила посмотреть их.

И я решила так: если уж я теперь домашняя, комнатная кошка Лори, я должна узнать при первой возможности, что же в ее комнате издает этот прекрасный запах.

Когда Макдьюи подбегал к ярко освещенному дому, миссис Маккензи стояла в открытых дверях.

– Слава Богу, приехали! – сказала она. – Я сама послала за доктором. А то я читала ей, хотела подушку поправить, смотрю – она глаза закатила и вроде бы отходит...

– Хорошо, что вызвали врача, – нетерпеливо кивнул он и кинулся в комнату Мэри. Доктор сидел у постели и лицо его было серьезно. Но Макдьюи удивило другое: только сейчас, в такую страшную минуту, он заметил, как красиво и кротко это лицо.

– Слава Богу, что вы приехали! – сказал доктор Стрэтси.

– Она умирает? – спросил Макдьюи. Доктор Стрэтси ответил не сразу.

– Она больше не хочет жить. Она не борется. Если мы это не изменим...

Тогда Макдьюи спросил:

– Сколько ей осталось?

– Не знаю, – ответил Стрэтси. На самом деле он думал, что ей осталось жить до утра, в лучшем случае – несколько дней, но он не хотел лишать отца надежды, пока еще тлела хотя бы искра жизни. – Организм у нее крепкий, но она сама гасит свои силы.

Макдьюи кивнул, подошел к кровати, посмотрел на свою дочь и увидел, что кожа у нее синеватая, глаза не блестят, а одеяло на груди почти не шевелится.

– Да сделайте вы что-нибудь! – вдруг, почти в отчаянии, воскликнул Стрэтси. – Вы же ее отец. Вы ее знаете. Вы ее любите, и она вас любит. Очнитесь! Она еще жива. Придумайте, чем ее расшевелить, чтобы ей жить захотелось!

Макдьюи печально посмотрел на врача и ответил так, что тот подумал, не свело ли его горе с ума:

– Если бы мы оживили кошку и дали ей, она бы улыбнулась и захотела жить.

– Я вас не понимаю, – сказал Стрэтси.

– Медицина... – начал Макдьюи, но Стрэтси покачал головой.

– Когда медицина бессильна, – сказал он, – остается одно: молиться. Макдьюи обернулся к нему, багровея от гнева.

– Как вы можете? – заорал он. – Как вы-то можете верить, когда ваш Бог все это терпит? Кто-кто, а вы навидались горя и несправедливых мучений! Зачем Богу ее жизнь?

Никто не ответил ему, и он продолжал:

– Я бы ползком к Нему полз, если бы я только знал, что есть правда, милость и смысл.

И вдруг он вспомнил, как совсем недавно, когда спасения не было, раздался крик: «За Макдьюи! За Макдьюи!»

– Пойдите, – сказал он. – Я кое-что припомнил. Если она доживет до утра, надежда еще есть...

Доктор Стрэтси вздохнул и взял свой чемоданчик.

– Надежда есть всегда, – поправил он. – Я приду завтра пораньше. Макдьюи не пошел за ним. Он думал так: на свете есть Лори. Лори здорова, она уже не блаженненькая, она способна драться как лев, за того, кого любит. Она спасет его дочь, да и его самого. И, полный надежды, он решил утром поехать к ней.

Доктор Стрэтси пришел пораньше, посмотрел на Мэри и сказал, что изменений нет. А Макдьюи, оставив лечебницу на Вилли Бэннока, сел в джип и уехал.

Ночью он не ложился, сидел возле Мэри Руа и держал ее за руку, пытаясь влить в нее свою любовь. Он просто чувствовал себя батареей, заряженной любовью, или ампулой, полной любви. Так провел он всю ночь, пока не занялась заря. Мэри не умерла за ночь; и он поехал к Лори, чтобы та ее спасла.

Проезжая мимо мест вчерашней битвы, он увидел, что цыган там нет и как бы не было. Примятая трава, следы колес, куски обгорелого дерева и холста – и больше ничего. Освобожденные звери, наверное, ушли в лес. Макдьюи улыбнулся, представив себе, как обезьянки тянут за веревку, требуя милосердия, а Лори выходит к затерянным детям чужой земли.

Наконец и сам он, бросив машину внизу, добежал до дерева и остановился, чтобы отдышаться и подыскать слова, которые он скажет Лори: «Помогите мне, Лори. Поезжайте со мной. Моя дочь умирает. Никто, кроме вас, ее не спасет».

Потянуть за веревку он никак не решался. Вокруг было тихо, как будто все вымерло, и ему казалось, что звон колокольчика вызовет цепь каких-то необратимых событий.

Тяжело дыша, он стоял и глядел на домик. Дверь была заперта, ставни – тоже. Вроде бы все было то же, но дом как будто отвернулся от него, или заснул, или неприветливо сжал губы. Что это – мерещится после бессонной ночи или ему действительно больше не рады здесь?

Сам тому удивившись, он услышал короткий, чистый звук колокольчика и понял, что нечаянно задел веревку плечом. Тогда он принялся звонить вовсю, и громкий лай раздался ему в ответ. Звонил он долго. Собаки умолкли, птицы успокоились; но Лори не выходила к нему.

Он стал кричать:

– Лори, Лори, это я! Это я, Эндрью!

Собаки залаяли снова, а птицы на сей раз не шелохнулись. Макдьюи стало страшно – не ранена ли она, не обожглась ли так сильно, что не может ответить? Но он звонил и кричал, кричал и звонил, пока привычный гнев не накатил на него. Он злился, что любит ее, а ничего не может сделать, не может ничего ей сказать, обещать, подарить.

– Лори! – кричал он изо всех сил. – Лори, я вас люблю! Слышите? Я приехал. Я хочу на вас жениться! Неужели я вам не нужен?

Позже говорили, что его предложение слышали на всех фермах в округе. А в домике, у окна спальни, стояла на коленях Лори и смотрела сквозь щелочку на большого, разгневанного, взывающего к ней человека. Шевельнуться она не могла.

– Милый мой, милый, – плакала она. – Надо бы подождать! Что ж так скоро? Нельзя, надо подождать...

Ей так хотелось, чтобы он был потише и понежнее.

– Вчера вы не так себя вели! – кричал он. – Вы дрались за меня! Вы меня поцеловали!

Она совсем смутилась и, уже не глядя на него, закрыла лицо руками.

– Я больше не приду! – крикнул он. – Я больше просить не буду! Когда отзвуки звона стихли, Лори отняла ладони от лица. Ей стало страшно уже по-другому, и она кинулась вниз, отперла дверь и побежала к дереву, крича:

– Эндрью! Эндрью!

Она долго ждала под деревом, но он не вернулся.

Макдьюи шел, спотыкаясь, сквозь лес. Он ничего не видел, ничего не слышал и не думал о том, куда идет. Так, спотыкаясь о камни и корни, чертыхаясь и падая, забрел он в самую чащу. Надежды у него больше не было, надежда кончилась. Гнев тоже оставил его. Словно бык, он проламывался сквозь заросли и вдруг очутился на поляне, окруженной дубами и буками, усеянной листьями, поросшей мхом и какими-то красными ягодами. В середине была могила, а на ней – дощечка с надписью, уже обесцвеченная солнцем и дождем и покосившаяся от ветра.

Могила была очень маленькая, как для младенца, и новая волна боли захлестнула сердце Макдьюи – он подумал о том, что его дочь будет лежать на тесном кладбище, а не в таком тихом и радостном месте. Боль была особенно сильной оттого, что дочь еще жила, а он уже думал об этом.

От могилы отойти он не мог, словно заколдованный. Вид ее почему-то прибавлял ко всем и без того тяжким чувствам что-то другое, еще более тяжкое.

Наконец он подошел, опустился на колени и не сразу решился прочитать надпись, боясь, что увидит: «Здесь покойся Мэри Руа Макдьюи, любимая дочь Эндрью Макдьюи. 1950 – 1957».

Потом он решился – читать было нелегко, надпись выцвела – и разобрал:

«Здесь покойся Томасина. Родилась 18 января 1952, зверски умерщвлена 26 июля 1957. Спи спокойно, в.зл блен й друг».

Испугался он не сразу. Он даже не сразу понял, что качает из стороны в сторону большой рыжей головой.

Неправда! Она и так была еле жива! Он спешил. Ей бы не выжить. Никто ее не убивал! – твердил он и вдруг подумал: «Кто же написал эти слова?» Тогда он весь похолодел от ужаса. Кто смел судить его, и вынести приговор, и объявить о том всему свету?

Он вспомнил светлые глаза Хьюги Стерлинга, и лица обоих его друзей. Он услышал три голоса, они выкликали: «Ветеринар Макдьюи, вы привлечены к суду. Дети судят вас. Мы разобрали ваше дело, и приговор наш – презрение».

Он снова увидел, как они все трое стоят перед ним, обвиняя цыган в жестокости к беззащитным, которых они так жалели и так хотели защитить.

«Медведя бьют!» – услышал он и увидел рядом с ним прозрачную, как тень, Мэри Руа. «Он убил мою кошку», – сказала она. Он давно не слышал ее голоса и вздрогнул при его звуке. И понял, что она действительно стояла здесь, когда ее друзья оказывали последние почести ее лучшему другу. Они действительно вынесли приговор: «Зверски умерщвлена», – и дочь подсудимого не спорила с ними. Неужели и на ее могиле они напишут эти слова?

Эта могила и эта надпись сделали то, чего еще не бывало: он увидел себя самого. Он увидел, что у него каменное сердце, что он не считается ни с кем и любит только себя. Даже сейчас, взывая к Лори, он забыл, зачем к ней приехал, забыл о дочери, злился, орал. Он увидел, что жизнь не пройдешь без жалости, и понял, что никогда не жалел никого, кроме себя. Он плохой отец, плохой влюбленный, плохой врач. Плохой человек.

Вот так случилось, что ветеринар Эндрью Макдьюи упал на колени и, громко плача, выкрикнул слова, невысказанные в его устах:

– Господи, прости меня! Господи, помилуй! Господи, помоги!

Он встал, ушел и оставил над могилой, на ветке огромного бука, единственного свидетеля этой сцены, светло-рыжую кошку с острыми ушками. Она видела все, с начала до конца, и осталась довольна.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Я– Баст, богиня и владычица! Слава Амону-Ра, творцу всего сущего!

Я – грозная богиня, дочь Солнца, повелительница звезд; молния – сверканье моих глаз, гром – мой голос; когда я шевелю усами, трясется земля, а хвост мой – лестница в небо.

Я – госпожа и богиня.

Человек снова поклонился мне, призвал меня, вознес ко мне молитву. Было это на утро после той ночи, когда Лори так изменилась и я сама усомнилась в себе.

Я ушла на полянку, где любила размышлять о том о сем. Сук огромного бука нависает прямо над могилой какой-то Томасины. Я лежу на нем и думаю.

Но думать мне не пришлось, ибо, громко бранясь, явился мой враг – Рыжебородый, встал и уставился куда-то, словно сошел с ума.

Потом он подошел к могиле этой Томасины, и с ним что-то случилось. Он заплакал. Он просто голосил и рвал свои рыжие волосы. Он даже упал на колени, а слезы у него так и лились.

И тут он поднял голову и взмолился ко мне. Он покаялся и попросил простить его. Он попросил ему помочь. Что ж, я помогу.

Теперь я не помню, что он был мне врагом, и я его ненавидела. Ненависть прошла, мстить я не буду. Я милостива к тем, кто поклоняется мне.

Когда Эндрью Макдьюи добрался до дому, он увидел у двери толпу любопытных. Среди них был констебль Макквори и все три мальчика. Он приготовился к худшему. Но констебль козырнул и сказал:

– Я насчет вчерашнего, сэр...

– Да?

– Вы больше не беспокойтесь. Цыгане уехали. – Он помолчал и прибавил: – Спасибо вам. Плохо мы за ними смотрели.

Макдьюи кивнул.

– А девочка ваша...

– Да?

Макдьюи сам удивился, как покорно и обреченно прозвучал его голос.

– Я буду молиться, чтобы она поправилась.

– Спасибо, констебль.

Мальчики стояли перед ним и хотели что-то сказать. Ветеринар взглянул в лицо своим судьям. Хьюги Стерлинг спросил:

– Можно к ней зайти?

– Лучше бы не сейчас...

– Она умирает? – спросил Джорди.

Хьюги толкнул его и громким шепотом сказал: «Заткнись!»

Макдьюи схватил руку Хьюги.

– Не трогай его! – сказал он и прибавил: – Да. Наверное, умирает.

– Нам очень жалко, – сообщил Джеми. – Я сам буду играть на волынке...

Макдьюи думал: неужели такие мальчишки, словно мудрые судьи, разобрали его дело и не осудили его?

– Что с медведем? – спросил неумолимый Джорди.

Макдьюи понял, что смерть медведя важнее для этого мальчика, чем смерть Мэри Руа, но не обиделся и не рассердился, а почувствовал, что правды сказать нельзя.

– Он ушел, Джорди, и больше страдать не будет, – ответил он. Наградой ему были облегчение и благодарность, засветившиеся в

глазах Хьюги Стирлинга.

– Мы знаем, что вы вчера сделали, – сказал Хьюги. – Вы... – Он долго не мог найти слова. – Большой молодец. Спасибо вам, сэр.

– Да, да... – рассеянно отвечал Макдьюи, а потом обратился к толпе: – Идите, пожалуйста. Когда это случится, вам скажут.

И вошел в дом.

Доктор Стрэтси, Энгус Педди, миссис Маккензи и Вилли Бэннок сидели у больной в комнате.

– Где вас носило? – резко спросил Стрэтси.

– За помощью ездил, – отвечал отец. Энгус Педди понял и спросил:

– Нашел ты ее?

– Нет, – сказал Макдьюи, подошел к постели, взял дочку на руки и почувствовал, что она почти ничего не весит. Прижимая ее к груди, он взглянул на друзей с прежней воинственностью и крикнул: – Не дам ей умереть!

– Эндрью, – почти сердито окликнул доктор Стрэтси, – вы молились?

– Да, – отвечал Макдьюи.

Педди облегченно вздохнул. Друг поглядел ему в глаза и прибавил:

– Я взятка не предлагал.

Доктор ушел. Он уже не сердился и сказал на прощанье:

– Если вам покажется, что я нужен... зовите меня в любое время.

Макдьюи сам удивился, что ему хочется утешить и ободрить старого врача. Он не знал за собой такой сострадательности. Еще он был благодарен, что Стрэтси не говорил ему прямо жестоких, отнимающих надежду слов. Проводив его, Макдьюи вернулся в комнату.

– Еще не сейчас, – сказал он миссис Маккензи. – Я вас позову.

Они с Вилли ушли. Энгус Педди замешкался, и Эндрью попросил его остаться.

– Ты ходил к ней? – спросил священник.

– Да, – отвечал ветеринар. – Я звонил, она не вышла. Она не придет. Все кончено.

Педди решительно покачал головой.

– Нет, – сказал он. – Нет. Еще не все. Ты сказал, что ты молился, Эндрью?

– Да.

– Помогло тебе?

– Не знаю.

– Помолимся вместе, а? – Он увидел, как побагровело лицо его друга, и сказал раньше, чем тот возразил ему: – На колени становиться не будем. Тебя услышат и так. Ты и рук не складывай. Любовь и милость не зависят от жестов и поз.

– Мне трудно молиться, Энкус, – сказал Макдьюи. – Я ведь не умею. Что надо говорить?

И удивился, как вырос вдруг кругленький, маленький священник, прямо всю комнату заполнил.

– Говорить? – переспросил он. – Ты молчи. Просто направь к Богу то, что в твоём сердце. И я так сделаю.

Педди отошел к окну и стал глядеть на пустую, темную улицу и на тяжелые тучи, нависшие над западной ее частью.

Макдьюи подошел к постели и стал глядеть на прозрачное лицо и поблекшие волосы. «Господи, – думал он, – спаси ее. Накажи меня, а ее спаси».

Наконец, друзья обернулись друг к другу.

– А если все уже решено? – спросил Макдьюи. – Стрэтси сказал...

– Значит, ты примешь и это. Но невозвратимых решений нет, все можно повернуть вспять...

– Энкус, ты правда веришь в чудеса?

– Да, – отвечал священник.

– Буду надеяться, – сказал Макдьюи.

– Вот этого Стрэтси и хотел, когда спросил, молился ли ты. Раньше у тебя надежды не было.

Священник ушел домой, ветеринар присел к столу у себя в кабинете, откуда было видно через холл, что делается в комнате у Мэри, и стал думать о том, какой разный Бог у констебля, миссис Маккензи, доктора и священника. Тот, Который без предупреждения вошел сейчас в его сердце, был похож чем-то на Лори, чем-то на Энкуса. От мысли о добром, маленьком священнике с приветливым лицом и заботливым взором ему стало легче, но мысль о Лори так больно ударила его, что выдержать он не смог.

Собиралась буря, где-то гремел гром. Темнота и тишина становились все тяжелее. Макдьюи пошел к дочери, взял ее за руки и сказал: «Не уходи от меня». Что-то засветилось в ее глазах и сразу угасло. Он долго стоял в тяжелой тишине, держа холодные ручки Мэри. И вдруг зазвонил звонок. Макдьюи вышел в холл и крикнул: «Я сам открою, миссис Маккензи!» Он был уверен, что это Энгус пришел провести с ним ночь. Но это была Лори.

Сперва он подумал, что ему мерещится, просто соседка зашла, но в странном свете дальних молний он увидел вчерашний плащ, откинутый капюшон, рыжие волосы, светящийся взор и нежную улыбку.

– Лори! – крикнул он.

Ее бледное лицо горело – наверное, потому, что она быстро прошла такой долгий путь.

– Я очень спешила, – сказала она. – Сперва мне пришлось их покормить и запереть.

– Лори! – хрипло повторил он. – Иди сюда. Иди сюда, Лори, иди скорей, только не исчезни!..

Она не удивилась его словам, вошла в дом, и он закрыл за ней дверь.

– Эндрию, – спросила она, – что ж ты не сказал, что у тебя больна дочка?

Он смотрел на нее и все не верил.

– Лори, – выговорил он, – тебя Бог ко мне послал?

– Нет, – честно отвечала Лори. – Его слуга, отец Энгус.

– Идем, – сказал он и повел ее за руку к больной.

Плащ она сбросила. Платье на ней было зеленое, как мох. Она опустилась у кровати на колени и долго мочала. Девочка глядела на нее. Макдьюи казалось, что уже много часов они что-то говорят друг другу.

– Как ее зовут? – спросила, наконец, Лори.

– Мэри, Мэри Руа.

Лори позвала своим нежным голосом:

– Мэри Руа! Бедная рыжая Мэри! Ты меня слышишь?

– Она не ответит, – сказал Макдьюи. – У нее голос пропал. Это я виноват.

– Ой, Эндрью! – воскликнула Лори и с бесконечной жалостью поглядела на него. – Можно я возьму ее на руки?

– Можно, – отвечал он. – Возьми ее на руки, Лори. Держи ее. Не пускай. Лори взяла девочку на руки и села с ней на пол. Голова ее так нежно и печально склонилась к больной, что у Макдьюи чуть не разорвалось сердце. Она припала щекой к потускневшим волосам, что-то приговаривала, шептала, легко прикасаясь губами к голове, и пела так:

Хобхан, хобхан, горри ог о, горри ог о, горри ог о.
Хобхан, хобхан, горри ог о^[17],

Моя душенька лежит.
Моя душенька больна...

Тут голос ее прервался, она прижала Мэри к груди и закричала:
– Эндрью! Ее почти нет!
Сверкнула молния, страшно загредел гром, взвыл ветер. Тяжелые капли застучали по крыше. Буря пришла с гор сюда, в долину.

Ну как? Хороша моя буря? Нравится она вам?

А мне не нравится. Я боюсь ее до смерти. Не люблю бурь. Весь мой мех, от носа до кончика хвоста, встает дыбом и потрескивает.

Конечно, я – богиня и могу вызывать дожди и грозы. Но это уж слишком!

Вам странно, что боги тоже боятся? Ничего странного тут нет. Вы создали нас по своему образу и подобию и по образу и подобию зверей и птиц. Чего же вы от нас ждали?

Богиня я богиня, но ведь я и кошка, совсем небольшая. Тогда, в прекрасном Бубасте, меня до болезни доводили все эти крики, пляски, подношения, вообще людская глупость.

Бывало, они поют, играют, шумят, а я сижу в святилище на золотом, усыпанном изумрудами троне и моюсь, чтобы о них забыть.

Хотела бы я сейчас забыть об этой буре. Лори ушла. Покормила нас, заперла – меня в доме, их в амбаре – и ушла куда-то. Не будь я богиней, я бы поднялась наверх и залезла к Лори под кровать.

Ой, какая молния! Гром какой! Пойду посижу хоть в спальне...

Знаете, что я там нашла?

Я узнала, откуда идет этот дивный запах, навевающий на меня печальные и сладостные сны. Одновременно я нашла и прекрасное место, где не так гремит и сверкает и прятаться не стыдно.

Это – шкаф. Наверное, Лори спешила, одеваясь, и не заперла его.

В Египте такого запаха не было. Пахнет мешочек; по-видимому, – в нем какая-то трава. Я нюхаю и нанюхаться не могу.

Посплю-ка я в шкафу. Тут хорошо, тепло. Носом я уткнулась как раз в мешочек и мурлыкаю так, что все трясется.

Сверкнула молния, и гром загрохотал такой, словно в небе ударили молотком в медный кимвал. Эхо прокатилось по холмам; и самые низкие, глухие ноты замерли у дверей и окон. Таких гроз не помнили и старожилы. Миссис Маккензи, Вилли Бэннок, Лори и Эндрю сидели у кровати. От страшного грома больная проснулась, и ужас засветился в ее глазах. Она приоткрыла рот, но ничего не сказала, и Макдьюи подумал, что ребенок, который не может плакать, просто душу разрывает.

– Не бойся, Мэри Руа, – прошептала Лори. – Утром будет тихо, светло... Макдьюи взглянул на часы. Было без малого четыре – то самое время, когда всего легче разлучиться телу и душе. Когда станет светло и тихо, подумал он, смерть уже уйдет отсюда и унесет с собой мою дочь.

– Может, послать Вилли за доктором? – спросила миссис Маккензи.

– Нет, – ответил Макдьюи. – Он больше ничего не может сделать. Последний его рецепт – «молитесь».

Он увидел, как зашевелились ее губы и склонилась голова Бэннока, но сам молиться не стал. Сердце его исходило нежностью к Лори – она, слышавшая ангелов, стирала платком пот со лба Мэри, гладила ее по щеке и по волосам, брала прозрачную руку в синих венах и тщила перелить в больную свою силу и любовь.

Макдьюи не молился из смирения, а не от гордыни. Ему казалось, что нельзя больше занимать Бога собой и своей бедой, когда мир полон горя и бед. Но молитвы миссис Маккензи и старого Бэннока поддерживали его. Они – простые души, невинные, не то, что он. Сейчас няня говорила вслух, и Макдьюи прислушивался к ее спору с Богом. «Господи, – говорила она, – у Тебя столько деток, оставь нашу девочку нам! Господи, послушай меня, старую, одинокую!» Вдруг он заметил, что кивает в такт ее словам.

Молния снова озарила комнату. Из-за грозы вышли из строя и свет, и телефон. В доме было темно и тихо, на столике стояли две керосиновые лампы и несколько свечей. Макдьюи опустился на колени

и стоял, касаясь Лори плечом. Он даже и не обнял ее, он просто ее касался и знал, что они едины.

Мэри Руа зашевелилась в постели. Лори и Эндрью переглянулись. Нежность и жалость еще освещали ее лицо, но он увидел и с ужасом узнал отсвет того, что видел вчера, когда шотландская женщина сражалась за его жизнь огненным мечом.

Она снова прижала больную к груди, защищая от ангела смерти. Макдьюи закричал:

– Господи Боже мой! Не надо!

Началась последняя битва.

«Томасина, – подумала я, проснувшись, – вылезай скорее, миссис Маккензи раскричится»

Она не любит, чтобы я лежала на белье Мэри Руа. А я лежу – и ей назло, и ради запаха лаванды. Всем запахам запах...

Вот и теперь я заснула, уткнувшись носом в мешочек. Что-то сверкнуло, загремело. Значит, гроза... Пойду-ка, решила я, к Мэри в постель. И ей лучше, и мне.

Я выпрыгнула на пол. Сверкнула молния. Что такое? Постель пуста. И это не та постель! Не та комната! Я-в чужом доме!

Я, Томасина-аристократка, испугалась впервые в жизни. Я бегала по комнате как одержимая, прыгала с постели на пол, с полу – на стул и на шкаф, пока снова не сверкнула молния и я не увидела лестницы. Тогда я кинулась вниз и увидела еще одну комнату, где перед очагом стояла корзина для какой-то кошки. Нашла я и кухню – чужую, не то что у нас, где все вверх дном и столько дивных запахов, и еще одну комнату, в которой стояла страшная и непонятная машина.

Мне становилось все страшнее, и я села посидеть посредине комнаты, чтобы сердце не так билось. «Спокойно! – внушала я себе. – Это, конечно, сон!» Чтобы убедиться, я лизнула лапки и поняла, что ошиблась. Во сне мы, кошки, не моемся.

Тут молния сверкнула такая, что не описать, и все загрохотало, затряслось, затрещало, чуть дом не обвалился. Я кинулась в трубу. Там было мокро, грязно, душно – нет, приличной кошке такая смерть не подходит! Я вообще не хотела умирать; я хотела домой!

Домой, домой, домой! Я висела в темной трубе и просто жить не могла без Мэри Руа. Я видела каждый уголок нашего дома, и кухню, и мое кресло, и белую скатерть, и плед на нашей кровати, а главное – круглое, курносое личико, рыжие волосы и чистый фартук.

Верьте или не верьте, я так ясно почувствовала запах Мэри Руа, словно сидела у нее на руках – запах глаженного белья, теплой фланели, шелковых лент, мыла, варенья, зубной пасты, мягких волос. И такая любовь переполнила меня, что я рванулась вверх по трубе, под самые молнии.

Кто как, а я дождя не терплю. Я спрыгнула и села под густым деревом. Мне захотелось умыться-я кошка чистоплотная; и я начала с лапок. Сперва моем лапку спереди, потом сзади, потом – щеки, голову, за ушами...

«Томасина, иди домой!»

Кто это сказал? Я сама? Теперь – бока, потом...

«Иди домой, Томасина!»

«Как это? В такую грозу? Да я и дороги не знаю!»

«Что тебе гроза? Ты и так вся мокрая. Неужели ты снова забыла запах Мэри Руа? Иди, глупая ты кошка!»

«Я не забыла! И молоко помню, и овсянку, и соленые слезы на розовых щеках. Я где-то пропадала очень долго... Я хочу домой... я...»

Смотрите, да это я сама с собой говорю! Кому ж еще? Я перестала мыться. Гром гремел немного подальше.

«Иди домой! Иди домой, Томасина!»

«Боюсь...»

«Иди».

Я вылезла из-под веток, и дождь брызнул мне в лицо. «Что ж, – рассудила я. – Он меня и вымоет». Мы вообще склонны к философии. Я наставила усики, проверяя, могу ли определить дорогу. Оказалось, могу.

Если бы я знала, как тяжел путь, как мокра земля, как холоден дождь, как буен ветер, я бы, наверное, не пошла. Или пошла бы все равно?

Я то бежала, то почти ползла – и лесом, и мостом, и улицами. Где-то я лежала под забором, снова не зная, сон это или явь, потом шла дальше. од забором я, наверное, и впрямь уснула ненадолго, потому что мне почудилось, будто я – не я, и сижу почему-то на золотом троне, на пуховых пурпурных подушках, а на шее у меня золотое ожерелье или, если хотите, ошейник. Справа и слева от трона какие-то жаровни, от них идет довольно приятный дым. Что-то зазвенело, вбежали красивые девушки в белых платьях. Они пели и размахивали пальмовыми ветками. У моего трона они упали ничком. В дверях показался мужчина в темной одежде. Волосы его и борода были рыжие, как пламя, глаза – холодные как лед.

Но, подойдя ко мне, он опустился на колени и стал другим, добрым. Он положил предо мной золотую мышку с рубиновыми глазами. «Помоги мне! – сказал он. – Пожалуйста, помоги!..»

Зазвенели кимвалы, загремел гром. Я лежала, дрожа, под забором. Небо стало багровым, дождь ревел, голос внутри меня самой повторял: «Иди домой, Томасина. Иди к Мэри Руа... иди... иди!..»

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Лори прошептала:

– Ты возьмешь ее на руки?

Женские слезы смешались с каплями пота на детском лице. Макдьои склонился над дочерью и вытер ей насухо щеки и лоб.

– Нет, – ответил он. – У тебя ей лучше. Я бы хотел так умереть.

Миссис Маккензи закрыла лицо руками, спина ее тряслась. Вилли отвернулся к стене.

Гроза гремела и сверкала. Грохот сменялся страшной тишиной, когда один лишь дождь стучался в окна. В одну из таких минут четыре раза пробили башенные часы. Лори и Эндрью в отчаянии посмотрели друг на друга поверх рыжей головы.

Мэри открыла глаза и долго глядела в глаза Лори. Потом она взглянула на отца, и лицо ее, маленькое, словно у куклы, вспыхнуло румянцем. Она стала на секунду такой же хорошенькой, как была.

Тогда они и услышали кошачий крик за окном, перекрывающий и свист ветра, и грохот ливня, и раскаты дальнего грома.

Все вскинули голову – и Лори, и Эндрью, и заплаканная миссис Маккензи, и распухший от слез Вилли с обвисшими усами.

Снова раздался крик – долгое, жалобное, пронзительное «мяу!». И кто-то в комнате сказал: «Томасина».

– Кто сейчас говорил? – крикнул Эндрью.

Усы у Вилли Бэннока взметнулись кверху, глаза сверкнули.

– Она! – закричал он. – Она сама!

Молния сверкнула так, что лампы и свечи обратились в незаметные огоньки. Все увидели в окне мокрую рыжую кошку.

– Томасина! Томасина! – вскричали разом Мэри Руа и миссис Маккензи. Девочка указывала пальцем на снова потемневшее окно.

– Господи помилуй! – сказала миссис Маккензи. – Кошка пришла с того света за нашей девочкой...

Первым разобрался, в чем дело, здравомыслящий Вилли Бэннок.

– Она живая! – крикнул он. – Да пустите вы ее сюда!

– Миссис Маккензи, – хрипло и тихо сказал Эндрью, чтобы не спугнуть Томасину, – она вас любит. Откройте окно... только

поосторожней. Богом прошу!

Старая служанка встала, вся трясаясь, и осторожно пошла к темному пустому окну.

Все затихло, только Лори слышала, как сухо и тяжело били крылья улетающего ангела смерти.

Медленно и осторожно миссис Маккензи открыла окно. В комнату влетели брызги дождя. Кошки не было.

– Кис-кис-кис, – позвала миссис Маккензи. – Томасина, иди ко мне, молочка дам!..

– Талифа, – заглушил шум ливня нежный голос Лори, – иди сюда! Иди ко мне! Кто-то мягко шлепнулся на пол. Мокрая кошка подошла ближе, открыла рот, молча здороваясь с людьми, отряхнулась как следует, подняла одну лапу, другую, третью, четвертую и отряхнула каждую. Практичный Вилли ловко обошел ее и закрыл окно.

Эндрью Макдьюи казалось, что если он тронет Томасину, она исчезнет как дым, или рука его просто коснется пустоты. Но все же он поднял ее, и она на него фыркнула. Она была настоящая, мокрая и злая.

– Господи! – сказал он. – Спасибо. – И положил кошку на руки к Мэри Руа. Томасина мурлыкала, Мэри обнимала ее, целовала и не думала умирать. Слабым, вновь обретенным голосом она выговорила:

– Папа, папа! Ты принес мне Томасину! Томасину принес, она жива!

Как бы долго ни пришлось ей выздоравливать, все стало на свои места. Отец ее снова был всемогущим и всеблагим.

– Ты что-нибудь понимаешь, Лори? – спросил Эндрью.

– Да, – просто отвечала она, нежно улыбнулась и глаза ее засветились мудростью. Она встала и положила в постель девочку с кошкой. Томасина принялась мыться. Ей много предстояло сделать – из лапы шла кровь, два когтя болтались, но она сперва вылизала шею и щеки своей хозяйки, а потом без прежней ненависти посмотрела на рыжеволосого и рыжебородого человека с мокрым лицом.

Гроза утихала вдали. Мэри Руа обняла Томасину, и та отложила свои дела. Через несколько секунд обе они крепко спали.

Миссис Маккензи и Вилли тоже пошли спать. Дождя уже не было. Кто-то постучался у входных дверей. Эндрью пошел открывать и увидел отца Энгуса, осунувшегося после бессонной ночи и одетого в

старую сутану. Ветеринар долго глядел на него. Лицо священника было мирное, и глаза за стеклами очков смотрели спокойно.

– Ты уже знаешь, – сказал Эндрью.

Энгус знал, и не знал. Просто сейчас, ночью, он вдруг ясно понял, что молитва их услышана.

– Да, – отвечал он. – Она жива и здорова.

– Она и говорить может. Энгус кивнул.

– Томасина к ней вернулась, – медленно продолжал Эндрью; но Энгус снова кивнул и сказал:

– Очень хорошо.

Они вошли на цыпочках в комнату. Лори сидела над спящей девочкой и спящей кошкой. Улыбка осветила круглое лицо священника.

– Как у них красиво... – сказал он.

Тогда Эндрью вспомнил то, что хотел сказать:

– Лори... – позвал он.

– Да, Эндрью?

– Когда миссис Маккензи открыла окно и позвала Томасину, ты ее тоже позвала, но как-то иначе. Как ты ее назвала?

– Талифа.

– Марк, – сказал отец Энгус, – глава 5, стих 35, и далее.

Лори улыбнулась. Эндрью удивленно глядел на них.

– Скажу по памяти, – продолжал священник: – «Приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла, что еще утруждаешь Учителя? Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй... Приходит в дом и видит смятение, и плачущих и вопиющих громко. И, вошед, говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит...»

Лори все так же улыбалась нежной, загадочной улыбкой; Эндрью пристально глядел на священника и на нее.

– «И взяв девицу за руку, – продолжал Энгус Педди, – говорит ей: „талифа куми“, что значит „девица, тебе говорю, встань“. И девица тотчас встала и начала ходить».

– Не понимаю, – хрипло сказал Эндрью.

– Она не умерла, она заснула, – сказала Лори. – Я видела, как дети ее хоронят. Когда они ушли, я раскопала могилу. Я боялась, не натворили ли они чего-нибудь.

– А-а-х... – выдохнул Эндрью.

– Я заплакала, – говорила Лори, вспоминая тот день. – Она была такая несчастная, на шелку, в коробке, совсем как живая. Мои слезы упали на нее, и она чихнула.

Священник и врач молча слушали ее.

В мозгу ветеринара Макдьои проносились события того дня: как он приказал Вилли усыпить кошку, как оба они спешили, собаку надо было оперировать. По-видимому, загадочный паралич прошел под наркозом, так бывает.

– Спасибо, Лори, – серьезно сказал он.

– Вы оба, наверное, есть хотите, – сказала Лори. – Пойду кашу погрею и поставлю чай.

Эндрью раскурил трубку. Энгус долго ждал, пока он заговорит, не дождался и начал первым:

– Что ж тебя теперь печалит?

– Да так... – сказал ветеринар, помолчал и объяснил: – Значит, это не чудо...

– А тебе и жалко! – заулыбался священник. – Очень мило с твоей стороны, меня пожалел. Нет, Эндрью, не чудо. Но ты оглянись, вспомни, как все хорошо задумано, а?

Эндрью долго курил, потом сказал негромко:

– Да, Энгус. Ты прав.

На кухне Лори гремела кастрюлями, чайником и сковородкой. Так распоряжаются в доме, где остаются навсегда.

notes

Примечания

1

Сецессия – стиль одежды и мебели конца XIX, самого начала XX века.

Тварный мир – мир твари – тварь – творенье. Божеское создание, живое существ?, от червячка до человека. (В.И. Даль). Таково значение этих слов в Библии.

Повесть «Дженни» П.Гэлликот.

Лерд – шотландский лорд.

Роб Рой– шотландский Робин Гуд. О нем написано в романе В.Скотта «Роб Рой».

«...сидит одесную Отца» – цитата из христианского «Символа веры». Слова эти относятся к Иисусу Христу. Одесную – по правую руку.

Баст– в египетской мифологии – богиня радости и веселья. Священное животное богини Баст – кошка. В честь Баст каждый год бывали торжества с пением и плясками; ее отождествляли с оком Ра.

Змей Апоп – глава всех врагов Ра – бога Солнца, олицетворяющий мрак и зло, владыка подземного мира. По одному из египетских мифов, Ра – солнце в образе рыжего кота под священной сикоморой города Гелиополя победил огромного змея Апопа и отрезал ему голову.

Священная сикомора (библейская смоковница) – дерево из рода фикус.

10

Ка – сознание.

Стиркофобия – слово, выдуманное автором, – фобия -острая неприязнь к кому-то или к чему-то.

«Ее зовут Лори Макгрегор» – интересно, что клан Макгрегоров (к которому принадлежал и Роб Рой) был как бы запрещен, и члены его назывались иначе. Нарочно ли Гэлликот дал своей героине такую фамилию?

Парки – в римской мифологии богини судьбы.

Молох— в библейской мифологии божество, которому приносились человеческие жертвы (особенно дети).

Франиеиск Ассизский (1182 – 1225) – великий святой Католической Церкви, покровитель животных и растений.

«.вы послали туда полицию» – в Англии с давних пор существует закон об ответственности за жестокое обращение с животными, и к этому закону относятся очень серьезно.

Лори поет по-гэльски на древнем шотландском языке, похожем на ирландский. Теперь шотландским языком чаще называют диалект английского (в книге на нем говорят Вилли Бэннок и миссис Маккензи).